

Офицерский
*Честное
имя*
роман

*Валерий
Новоляев*

До
последнего
мига

Валерий Дмитриевич Поголяев
До последнего мига (сборник)
Серия «Офицерский
роман. Честь имею»

epub предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22837450

Вече; 2016

ISBN 978-5-4444-8586-6

Аннотация

«Я должен был защищать Отечество...» Эти слова вполне мог сказать лейтенант Игорь Каретников – один из участников обороны окружённого кольцом блокады Ленинграда. Мог их произнести и прапорщик Батманов, не деливший дела на «пограничные» и «непограничные», без раздумий вставший на пути опасных негодяев, для которых слова «Родина», «Отечество» – пустой звук... Героические судьбы российских офицеров в произведениях признанного мастера отечественной остросюжетной прозы!

Содержание

До последнего мига	5
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Валерий Поволяев

До последнего мига

© Поволяев В. Д., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

До последнего мига

Оглядываясь назад, он справедливо считал, что каждую минуту, каждый миг своей прожитой жизни думал только об одном человеке, о матери – седенькой ленинградской женщине с добрым внимательным лицом и чистыми девчоночьими глазами. Думал о ней даже тогда, когда выслушивал приказ командира роты о том, что необходимо взять плоскую, перепаханную снарядами, гранатами, минами, пулями, прочим металлом войны высоту, имевшую простое, совершенно негрозное обозначение из трёх цифр с запятой и нулём, о которую «стесали зубы» уже две роты. Он думал о матери и в ту минуту, когда, низко пригнувшись, почти касаясь грудью земли, не чувствуя ног под собой, совсем один в чёрной гулкой ночи шёл в атаку, а за ним – его взвод, и в то мгновение, когда его садануло свинцом в бок, перебив два ребра... Он думал о своей матери не потому, что был маменькиным сыном, тепличным растением, неожиданно угодившим на мороз и с тоскою вспоминавшим былое, нет, просто он любил мать как... ну как самого себя. Впрочем, себя он не любил, к себе относился с насмешкой, в мыслях подхихикивал над собой, порою даже издевался и считал это обычной вещью; он тревожился за мать, беспокоился, как там ей живётся в холодном и голодном городе, есть ли у неё хотя бы немного дров, чтобы согреть маленькую тёмную квартирку

и вскипятить чай, имеется ли кусок хлеба. Мать была для него всем – и радостью, и болью, и криком души, и песней, и смехом, и нежностью, была и прошлым, и настоящим, и будущим одновременно, – всем вместе.

Игорь Каретников был ранен, когда пытался вскарабкаться со своим взводом на злополучную высотку, «расстроить нервы» немцам, но те ошетинились, открыли пальбу такую, что ночь превратилась в день. Взвод просто-напросто растаял в этом жестоком огне, и Игорь, ощущая в себе какую-то острую, почти слёзную боль, досаду, рванулся на плещущую искристым жёлтым огнём жердину, выставленную из окопа, швырнул туда гранату, но взрыва не услышал, его с силойшибануло, ноздри, рот и глаза забило мёрзлым и отчего-то солёным снегом, в голове мелькнуло мутное, удивлённое «Почему снег солёный? Мороженная моча, а не снег... Он не должен быть солёным!» Младший лейтенант Каретников закувыркался один-одинёшенек в огромной, щемяще-страшной пустоте, словно пушинка, подбиваемая потоками воздуха. Он летел долго-долго, не ощущая ни боли, ни ломоты в костях, ни рези, ни желания зацепиться за что-нибудь, забиться в щель, раковину или нору и затихнуть.

Очнулся он оттого, что его волок на себе маленький слабосильный Веня Кудлин. Кудлин задыхался, хрипел, но Каретникова не бросал, волок и волок упрямо. Неправда, что боли не было, – боль была, пробивала тело насквозь, в бок словно бы горячий штырь вогнали, что-то там сипело, буль-

кало, шевелилось, и Каретников, одолевая боль, спокойно подумал: «Живот разворотило. Теперь всё – тащи не тащи – один конец...» Облизал сухие солёные губы. Опять соль! Снег, кровь, губы – всё солёное. Не выдержав, застонал.

– Тише, командир! Немцы рядом, – просипел Кудлин, – сейчас палить начнут.

И верно, стон услышали, в воздухе хлопнула, плющась о низкое плотное облако, ракета, осветила всё кругом неровным могильным светом. Над ними с тонким свистом прошла струйка пуль.

– А где взвод?

– Нету взвода, командир. – Кудлин стащил Каретникова в воронку – надо было отдышаться, оглядеться, отсипеться малость – вчерашний школяр Кудлин действовал как опытный солдат, – а потом уж ползти дальше.

Кровянистая густая пелена шевельнулась перед Каретниковым, вспузырилась, разрываясь на хлопья, Каретников застонал. Тотчас над воронкой прошла струя пуль – на этот раз очень низко, выстригая куски снега с закраин.

Ночь была гулкой, морозной каждый звук хорошо слышен, немцы не спали – ожидали, когда русские снова пойдут в атаку... Но русские не шли.

– Давай перевяжу тебя, командир, – просипел Кудлин, выдернул из кармана ватных штанов пакет, задрал на Каретникове телогрейку и, морщась от сострадания (хотя чего морщиться-то, завтра и Кудлина могут просечь из пулемёта), на-

лепил на рану кусок ваты, которая мгновенно пропиталась кровяной чернотой, сверху перетянул бинтом.

Каретников не помнит, как его доставили в госпиталь на Васильевский остров.

...По утрам тяжёлые, обмахренные инеем двери госпиталя невозможно было открыть. И не потому, что снаружи их придавливало и засыпало снегом, которого в первую военную зиму в Ленинграде навалило, что называется, на долгие годы вперёд, – никогда такого снега не было, как и таких тяжёлых, обвально-трескучих морозов, а по другой причине ночью василеостровцы на салазках, фанерках, кусках кровельного железа, к которым были прикручены верёвки, свозили к дверям госпиталя умерших. У самих василеостровцев не было сил хоронить людей – запросто можно вместе с мертвецом ткнуться в могилу и остаться там навсегда, а госпиталь, как верно разумели василеостровцы, обязательно погребёт мертвеца, не бросит на улице. Иногда трупов набиралось вровень с ажурным литым козырьком навеса, прикрывающего дверь, иногда даже больше.

Из-за этих трупов да из-за подвозки раненых расчищали не только Большой проспект, но и Пятнадцатую линию, где располагался госпиталь. Как ни трудно это было, а расчищали. Каждый день. Горы снега вздымались круто, поднимались на уровень второго этажа, забивали окна, подбирались к линии третьих этажей и выше, грузно шевелились, вздыхали словно живые под натиском мороза, по ночам гудели и

подставляли резкому балтийскому ветру свои обледенелые горбы. Словно муравьиные стежки, в них были проделаны лазы-тропки, вели эти тропки к домам, указывали, что жизнь в тех домах ещё теплится, а если уже не вели, то можно было не проверять и лаз не прорубать – всё равно в опустевшем доме спасти некого.

Рассветы над Ленинградом поднимались тяжёлые, угрюмо-сизые, в пороховой гари и дыму – ни довоенной синевы в них, ни лёгкости, ничего от прежнего, будто радость и тишина навсегда исчезли, утопленные в горе и охлестах снарядов, в крутом морозе-трескотуне, который раньше никогда не отваживался сюда заглядывать, всё больше ограничивался Севером да Сибирью, исчезали кошки, собаки, и птицы, обычно зимовавшие в городе, тоже исчезали...

Когда дверь госпиталя невозможно было открыть, старик Парфёнов, которого раненые звали дядей Шурой, кочегар и ключник по совместительству, недовольно бубня про себя, ругаясь, отпирал крохотную калитчонку, вмонтированную в ворота, – слава богу, хоть она открывалась внутрь (двери госпиталя наружу, от себя, тут раньше городская больница была, построил её когда-то архитектор-немец, всё в ней не так, как надо, сработано на немецкий лад), – а оттуда, медленно работая лопатой-штыковкой, окутываясь паром, поминутно останавливаясь, отдыхая, проделывал лаз на вершину глинисто-тёмного, наметенного за ночь сугроба. Стаскивал с зеркально блестящей головы, на которой не было ни одного во-

лоса, ушанку с потрескавшимся кожаным верхом, вытирал лысину. Глаза дяди Шуры Парфёнова наполнялись старческой мокретью. То ли слёзы это были, то ли пот – не поймёшь. Парфёнов громко ширкал носом, бухтел что-то горько про себя. Нет, всё-таки понятно было, что за мокреть у него блестела в глазах. Слёзы.

У госпитальной двери, примёрзнув друг к другу, присыпанные серой, жёсткой, как песок, крупкой, лежали каменно-твёрдые человеческие тела, прямые, будто вытянутые по линейке, с яблочно светящимися лицами, выстуженными ртами, ноздрями, глазницами, в которые набился и спрессовался в железно-льdistые, плотные и прочные, как металл, нашлапки снег.

Горбился Парфёнов над страшной поленницей, втыкал лопату в снег и несколько минут стоял, немо шевеля губами, смаргивая ресницами мокреть с глаз: сколько он ни видел трупов, а никак не мог к ним привыкнуть, никак в его голове не укладывалось, что люди могут умирать десятками, сотнями, тысячами. Безмолвно, не прося ничего, не прощаясь ни с кем, беспамятные от голода, могут тихо-претихо, никого не тревожа, уходить в небытие. И кто они, эти люди, как их зовут, где их документы?

Не будешь же шарить по карманам, проверять одежду, а вдруг где-нибудь паспорт найдётся, или метрика-свидетельство о рождении, либо справка о прописке, где всё чин чинном нарисовано – и фамилия, и имя с отчеством, и адресок

проставлен, и, вполне возможно, – год рождения. Сил на то, чтобы проверять покойников, совсем нет, дай бог сил отвалить их от двери в сторону, чтобы не мешали, и отвезти на кладбище, к последнему причалу.

Сморкался Парфёнов себе под катанки, вздыхал тяжело, слёзно и принимался за работу.

Из окна палаты, где лежал Игорь Каретников, было видно, как Парфёнов кособочится, страдает, постоянно стаскивает с головы шапку, утирается ею; несмотря на мороз и мелкую серую крупку, сыплющуюся невесть откуда, его, кажется, бьёт горячечный озноб, лицо – землистое от недоедания и печали.

Бывший балтийский матрос Парфёнов, служивший когда-то на адмиральской яхте, никогда не думал, что ему придётся заниматься таким страшным делом. Однажды он не подчинился хозяину – самому адмиралу, – был обрит, избит, осуждён и отправлен на Север. Там он окончательно потерял свою роскошную шевелюру, там встретил революцию и расчитался за себя: бил и беляков, и англичан, и немцев и даже участвовал однажды в разгроме американской конвойной роты. Но нигде, никогда, ни в какие лютые и горькие годы он не видел того, что видел сейчас. Внутри у него что-то хрипело, надрывалось от жалости, горло перехватывало удавкой, а поделать ничего было нельзя.

Ленинград, сжатый кольцом блокады, голодал. Пайка хлеба – сто двадцать пять граммов ноздреватого липкого меси-

ва, наскоро испеченного, ценившегося выше всего на свете (кроме наравне, пожалуй, с благодарной человеческой памятью, позволяющей, так же как и хлеб, жить), – не спасала людей от смерти. Ели всё: столярный клей, обои, обмазанные с тыльной стороны крахмалом: из них, мелко нарезанных, получалась этакая домашняя вкусная лапша, «самодельная», ели сыромятные ремни.

Когда восьмого сентября сорок первого года были разбомблены Бадаевские продовольственные склады, каждому, кто более-менее смыслил в том, что это такое, сделалось ясно: будет голод. Продукты остались только в райпищеторгах, в очень небольшом количестве, в столовых да в магазинах – и всё! Но это ведь только на два дня нормальной жизни. Имелись ещё, правда, запасы горчицы, из которой женщины пытались стряпать оладьи, но... Об этом Каретников слышал на фронте и задавал себе невольный вопрос: какие оладьи могут быть из горчицы?

Первыми начали умирать сильные крупные люди, которым было трудно поддерживать организм, требующий много, они съёживались, сохли, превращались в древних старичков уродцев, безмолвно отбывали в мир иной: за ними стал умирать народ помельче.

Бывший матрос Парфёнов был незаменимым человеком в госпитале – таким же, как, например, хороший хирург, терапевт или даже, извините, сам главный врач. Несмотря на бурчание и колючий характер, – правда, это только поперву

казалось, что характер у него строптивый, а самом деле Парфёнов был добрым человеком, – имел деятельную душу и руки, которые могли смастерить что угодно: хоть чёрта с ложкой, хоть луну с песнями, хоть лешего с мочалкой – всё едино, лишь бы материал был.

Он часто сидел в своей «преисподней» – котельную иначе в госпитале не звали – и стругал что-нибудь из обрезков досок, которые хранил пуще глаза: «сырьё» запросто ведь могли уволочь, в Ленинграде вся мебель, сараи и заборы уже давным-давно пошли на топливо, только воспоминания о дыме и остались. Работа помогала ему бороться с голодом. Дядя Шура Парфёнов соорудил в своей «преисподней» роскошную вещь, о которой знали очень немногие, – в закутке котельной, в дальнем тёмном углу, куда надо было забираться только со свечой, к огрызку водопроводной трубы приклепал насадку от огородной лейки и поставил бронзовый вентиль, отлитый в какой-то неведомой дореволюционной мастерской, – получился душ. Самый настоящий душ. В окольцованном немцами Питере, где ни тепла, ни света, ни дров, ни еды, ни воды, кроме как из Невы да из разных проток, ничего, словом, – и вдруг тёплый душ.

Но это ещё не всё. В большой кафельной комнате, расположенной на втором этаже госпиталя, дядя Шура Парфёнов поставил чугунную, аккуратно сработанную ванну на львиных, плоско стёршихся бронзовых лапах с сеточками для мыла и потрескавшимся фарфоровым нутром. Когда в гос-

питаль поступал новый раненый, его мыли в этой ванне, вытирали насухо и оттуда уже на носилках доставляли в палату. В других госпиталях этого не было, Игорь Каретников знал точно, да и не только он. Солдатский телеграф работал исправно, вранья не пропускал, раненый люд – информированный, знает, где что творится; в других госпиталях новеньких протирали спиртом либо одеколоном и никаких тёплых ванн, никакого блаженства, когда забываешь про боль и кровь и млеешь от прикосновения рук сестричек, постанываешь. Одно только неудобство при приёме ванны – голым перед сестричкой неловко, стыдно, хотя эти сердобольные девушки на мужскую стыдобу внимания никакого не обращают, не до того им.

И в самом госпитале раненым мёрзнуть дядя Шура Парфёнов не давал: все щели замазаны, зашпаклеваны, дыр нет, углы комнат не обмётывает искристая морозная махра; если где-то рядом фриц положит снаряд – а снарядов они кладут порядочно, всё время, сволочи, садят и садят из дальнобойных, и в стене от содрогания и резких земных толчков появляется ломина, дядя Шура Парфёнов, ворча и ругаясь про себя, тут же заделывает её: замазывает раствором, который сам же и стряпает внизу, в котельной, затем ломину обрабатывает извёсткой. Хотя, не будь в госпитале запасов топлива, вряд и дяди Шурины старания помогли бы – от лишней заделанной дыры тепла не прибудет.

До войны в госпиталь, который тогда ещё был рядовой

больницей Василеостровского района, завезли несколько машин угля и ссыпали горкой во дворе. На уголь тот дядя Шура Парфёнов сразу, как говорится, наложил лапу – никого к углю не подпускал, разделил его на пайки, как продавщица в булочной, находящейся в четырёх шагах от госпиталя, делит серый липкий хлеб, и рассовал по сусекам, будто бы что чувствовал дядя Шура Парфёнов, приберегая топливо. И, как теперь оказалось, был тысячу раз прав – ныне успешно поддерживал «температуру» в госпитале.

Освободив входную тяжёлую дверь, над которой строго прямился литой, в вензелях, в орнаментальных загибулинах и завитушках, козырёк, Парфёнов отворачивался от трупов, лицо его пробивала короткая болевая судорога, короткими миллиметровыми шажками он приближался к двери, стучал в неё. Лицо его окутывалось лёгким белёсым парком, и Игорь Каретников понимал, что дядя Шура нервничает, сглатывает мокроту с губ, кричит техничке, дежурившей по ту сторону двери, чтобы та не медлила, поскорее открывала дверь.

Ещё в окно Игорь видел, как исхудалые, чёрные, согбенные люди бредут к Неве с чайниками и ведёрками за водой, иногда тащат за собою салазки, на которые поставлена пара кастрюль, сопротивляются ветру, слушают на ходу звук снарядов, безошибочно определяя, куда направляется чушка, чья она – наша или немецкая. Без невоской водицы ещё хуже, чем без двадцатипятиграммовой пайки хлеба. Без этих

вещей в Ленинграде жизни совсем нет. Каретникову очень хотелось хоть чем-то помочь этим людям, помочь нести ведёрко или тянуть салазки, хотелось просто выйти на улицу, посочувствовать, обогреть словом, но он не мог этого сделать – был лежачим больным. Оставалось одно – сочувствовать и думать о матери.

Вода действительно не меньше, чем хлеб, значила в жизни блокадников. В Полюстрово, как слышал Игорь, минеральная вода, например, людей от голода спасала. Полюстровскую воду открыл, сказывают, сам Пётр Первый, попробовал её и одобрил: «Хар-раша!» Игорь много раз пил её до войны. Ржавая, пузырчатая, крепкая, вкусом своим напоминает боржом – так же шибает в нос, так же остра. Ею в самую пору горячий шашлык запивать. Игорь подумал о шашлыке и тут же поморщился от боли: ударило в висок, во рту мгновенно собралась голодная слюна, скаталась в ком. Железом ещё вода «Полюстрово» отдаёт: отопьёшь пару глотков – на зубах металл скрипит.

В воде этой и впрямь много железа было, а оно, как говорят, здорово поддерживает в человеке силы, даже голод утоляет, вот ведь как. Во всяком случае, в Полюстрово умерших насчитывалось в несколько раз меньше, чем в других ленинградских районах.

Первым делом, когда Игорь очнулся, то хотел нацарапать матери записку, что он-де жив, царапнуло его только, и по этой причине попал временно в госпиталь, но потом поду-

мал, что незачем тревожить мать – сообщение о госпитале может просто-напросто убить её.

Вспомнил, что перед самым ранением послал матери два письма подряд, с разницей в несколько часов, и пока полевая почта будет переключать их из машины в машину, из ящика в ящик, из одной сумки в другую, пока принесут матери – время пройдёт, так что ничего страшного. А той порою он оклемается, на ноги встанет, перед отправкой на фронт выпросит день отпуска, чтобы побывать у матери – ведь она живёт тут же, на Васильевском острове, в глубинке, только поближе к Голодаю, на котором, как гласит молва, были когда-то погребены тела казнённых декабристов. Ох, и обрадуется же ему мама!

Сердце стиснуло что-то щемящее, нежное, тёплое: как она там перебивается, как тянет на двадцатипятиграммовой хлебной пайке и пудинге из столярного клея? Игорь повозил головою но подушке, застонал тихо. Стон этот, казалось, никому не слышимый, дошёл до раненого мичмана, лежащего на соседней койке, тот приподнялся, спросил:

– Может, врача позвать?

– Не надо. Я это... это... – Игорь ощутил, какие у него горячие и сухие губы, словно у лёгочного больного. А вдруг та пуля и лёгкие зацепила? Запросто ведь могла зацепить. Но тогда почему молчат врачи, ничего не говорят, не лечат? Почему, почему, почему, десять раз, сто, тысячу раз почему? Раненые и больные люди – капризные, постоянно болячку

за болячкой у себя находят. – Я о матери думал, – произнёс Игорь тихо, – как она там?

– У всех тут одна судьба – блокадная пайка. Что по Ладоге на машинах подвезут – то и едят. Меня там, на Ладожском озере-от, как раз и ранило.

Это Игорь Каретников уже знал, мичман раньше рассказывал.

– Идут машины, идут десятками, сотнями, а доходят из сотен десятки, из десятков единицы, – лицо мичмана сделалось жёстким, каким-то деревянным. – Немецкие самолёты вздохнуть-то не дают, разбойничают, соб-баки, здорово. Иногда до Ленинграда и единицы не докарябываются, – мичман всосал сквозь сжатые зубы воздух, напрягся.

Байковое, глинистого цвета одеяло сползло с него – мичман был на Ладоге не только ранен, но и контужен: бомба шлёпнулась у самых его ног, ушла под лёд. Как уцелел мичман – одному Богу известно.

Каретников осторожно, прислушиваясь к внутренней боли, поднялся – скоро он станет ходячим больным, точнее, ранбольным, под таким определением он занесён в госпитальный реестр, – натянул на мичмана одеяло, попридержал, когда моряк выгнулся горбом на койке.

– Спокойней, спокойней, браток.

Ранение и контузия одновременно – вещь серьёзная. Не повезло моряку. А может, и повезло – в тыл спишут. Но разве это везение – прозябать, киснуть в тылу, среди бабских юбок

и стариковских зипунов?

Через неделю в госпитале появился Веня Кудлин – маленький, верткий, похожий на пацана, в тяжёлых, громоздких, явно не по ранжиру сапогах, с носом, лаково блестящим от мороза, похожим на синеватое голубиное яйцо и круглыми, от рождения всегда удивлёнными, спелого горохового цвета глазами. «Веня, Веня, товарищ спаситель...» У Каретникова что-то защипало в глазах: Веня Кудлин был какой-то крошечный, слабый, аккуратно сработанный – не топором, не зубилом, а буквально дамским перочинным ножичком выструганный, честное слово! И как он только сумел с той огненной смертной высоты стащить Каретникова?

Халат, который рядовой Кудлин натянул на себя, скрыл его полностью, до самых пяток. Плечи у халата были огромными, рукава длинными, сморщенными, и Кудлин постоянно поддёргивал их. Вид у Вени был смущённым, словно у нашкодившего школяра.

– Я тут, товарищ лейтенант... – начал он и засмутился чего-то: то ли палаты, битком набитой ранеными, в которой запросто можно заплутать, скиснуть, когда каждый взгляд обращается к двери, едва она открывается, в глазах раненых написано всё – и боль, и страдание, и голод, и ожидание избавления; то ли перед собственным командиром почувствовал себя неловко – вон Веня даже звание перепутал, на один кубарь взял выше – из младшего лейтенанта в лейтенанты перевёл Каретникова.

– Младший лейтенант, – поправил Игорь Каретников.

– Нет, уже лейтенант, – Кудлин качнул стриженной под бокс головой, – вам новое звание присвоили. – Веня оглянулся, ища, куда бы сесть, но табуретки поблизости не оказалось, и он, вздохнув, переступил с ноги на ногу. Большие кудлинские кирзачи гроыхнули по деревянному полу. Они будто бы существовали сами по себе, эти кирзачи, а Веня Кудлин: сам по себе.

– Садись, Кудлин, на кровать. Не бойся.

– Я вам, товарищ лейтенант, от наших ребят подарок привёз, – Кудлин запустил руку в ватные штаны, достал оттуда что-то очень небольшое, схожее с запонками. Посмотрел в кулак, зажал. Примерился, сел на край кровати. Поглядел назад – не придавил ли чего. Нет, вроде бы ничего не придавил.

– С повышеньцем, лейтенант! – подал голос сосед, мичман. – Когда победим, магарыч с тебя.

– Вот какой подарок, – Веня разжал руку.

В ковшике ладони Каретников увидел четыре окрашенных в защитный цвет кубаря с жестяными тонкими шпёнками. Такие кубари Каретников ещё не видел, у него в петлицах были малиновые эмалевые кубики, так называемые парадные.

– Вот, – Кудлин протянул Каретникову кубари, ссыпал в руку.

Каретников улыбнулся, хотел что-то сказать, поблагода-

ритель Кудлина, но не смог – голос чего-то пропал, язык во рту сделался неповоротливым, тяжёлым – онемел, и всё тут! Эта забота оттуда, с фронта, была трогательной и неожиданной, она была как лишний кусок хлеба – довесок к пайке, вызывала ощущение тепла, чего-то очень доброго, обязывающего человека к жизни.

– В Ленинграде я в увольнении, – сообщил тем временем Кудлин, – до двадцати ноль-ноль. А потом... – он помедлил немного, махнул рукой, показывая на окно, – потом назад!

Назад – это очень просто в городе жил, передвигался: стучал колёсами по рельсам один-единственный трамвай и малость посеченный, малость помятый вагон с «бортовым» номером пятнадцать. Его так и звали: «Пятнадцатый трамвай». И почему выбрали именно номер пятнадцать – то ли по указанию свыше, то ли просто этот вагон под руку попался, никто не знал. Пятнадцатый трамвай возил людей на фронт. По длинному заснеженному проспекту. Сядет Кудлин в трамвай, проедет с полчаса и очутится снова на фронте. А Каретников будет долечиваться, продолжать свою госпитальную, уже изрядно обрыдшую жизнь. Тьфу!

Но досада была минутной, пыхнула, как порох, и исчезла. Всё-таки рядом находился Кудлин. Ощущение радости, тепла, чувства единения с теми, кто уцелел после боя на высоте, не проходило. И подарок какой дорогой – такие кубари действительно пайки хлеба стоят! Там, на фронте, – Игорь Каретников, несмотря на причастность к людям, оставшимся в

окопах, в которых ещё совсем недавно, какие-то три недели назад, сидел сам, уже не только умом, но и душою понимал громадность расстояния между «там» и «здесь», ледяную гибельную пустоту, ущелье, лежащее между ними, – командиры вырезают себе кубари из консервной жести, пришивают простыми нитками к петлицам. А тут – Игорь невольно потетешкал кубари в ладони – фабричные, отштампованные на прессе, натуральные, так сказать, не самодельные...

Он помял пальцами горло, проверяя, отпустила немота или нет, попытался снова что-то сказать, и опять у него ничего не получилось. Ну будто в глотке какая-то костяшка застряла.

Низко над госпитальной крышей провыл снаряд. Кудлин от неожиданности втянулся вместе с головой в халат-большемерок – даже макушки не стало видно. Мичман на соседней койке засмеялся. Сипло засмеялся, как-то страшновато.

– Это не наш снаряд, – сказал он Кудлину, – на Невский полетел.

В определении «не наш» мичман, как показалось Кудлину, вложил какой-то особый смысл, от которого невольно повеяло холодом, тленом, чужой бедой.

– Попадёшь в госпиталь, быстро настропалишься узнавать, чей снаряд топает, твой или не твой, какого он происхождения и где шлёпнется, – моряк дёрнулся, закашлялся, приподнялся на постели, замер. Лицо у него одеревенело, покрылось потом.

– Помоги ему, – наконец выбил из себя немоту, словно пробку, Каретников, – он контуженый. Зашибиться может.

Кудлин проворно пересел на кровать мичмана, забормotal что-то по-голубиному тихо, успокаивающе, попридержал мичмана, под затылок ладонь подставил, чтобы тот не врезался головой в железные прутья кровати спинки.

Над крышей прогундел ещё один снаряд, крупнее первого, через некоторое время донёлся далёкий харкающий звук взрыва, потом под госпиталем дрогнула земля, хотя, честно говоря, должно быть наоборот, удивительно, что это не так, – ведь вначале доходит земной толчок и только потом накатывается звук. Снаряд упал в районе Исаакиевского собора. Уж не рванул ли там какой-нибудь склад?

Мичман снова закашлялся, на щеках появились живые розовые пятна, во взгляде проступила глубина, осмысленность – мичман приходил в себя.

– Пр-роклятая контузия, – просипел он, – вроде бы ничего страшного, а вон как трясёт. Тьфу! Извини, солдат!

– Ничего, – пробормотал Веня Кудлин, пересел назад на кровать Каретникова.

– Все мы тут под богом ходим, – сипел мичман, – каждому может быть уготовано такое.

С нашей стороны на позиции немцев также ушёл снаряд, ответный, началась обычная перестрелка, которую окопная печать величает довольно высокопарно «артиллерийской дуэлью». Но какая это дуэль? Дуэль – это когда на равных, а тут

у фрица и снарядов больше – на один наш может полсотни своих кинуть, и цели сфотографированы с самолётов и размечены по квадратам: один час он лупит по Васильевскому острову, другой – по Невскому проспекту, третий – по Петроградской стороне, потом остановится на полчаса – передых себе делает, чтобы перекусить, кофейку испить, на губной гармошке попиликовать, потом снова начинает садить из орудий. Заведенно, с равными интервалами, будто машина.

– Немецкий снаряд всегда можно от нашего отличить. Он идёт, слышимый издалека, потом звук его усиливается, снаряд приближается, приближается, приближается, по вою его делается понятно, куда плюхнет. С точностью до ста метров. Это даже самые штатские люди, бабки, божьи одуванчики, и дети научились-от распознавать. А не научишься... Тут, как говорится: хочешь жить – умей вертеться. А когда наш снаряд идёт – звук рождается как удар, он возникает уже над самой головой, сильный, звонкий, и уж потом начинает удаляться, уползать на фрицеву сторону. И лишь-от затем замирает. Взрыва же не бывает слышно.

Одних людей контузия делает молчаливыми донельзя, почти немыми, других вгоняет в глухоту и одновременно в визгливость, третьих – в трясучку, с четвёртыми творит ещё что-то, а моряка она сделала разговорчивым. Да кроме того, он на свежего человека попал – как же тут не разговориться!

– Да и звук сам-от, он это... – мичман нетерпеливо пощёлкал пальцами, – ну цвет его, тон у нашего снаряда совсем

иного коленкора, чем у фрицевского. Наш снаряд уверенно идёт, басисто, красиво, а фрицевский – на излёте. Он уже бултыхается, ровноту теряет, сипит, в воздухе готов разорваться.

Кудлин поёжился: вспомнил увиденное на Невском проспекте. Там снаряд угодил в группу девчат, расчищающих снег, – дом до самой крыши кровью обрызгало, а на изгибе водосточной трубы, вверху, покачиваясь тяжело на ветру, повисли кирзовые сапоги. Из них густо капало кровью и были видны круглые голые коленки.

– Уж лучше бы он в воздухе взрывался, – вслух проговорил боец Кудлин, – а на землю не падал...

– Если бы да кабы, – рассудительно развёл руки мичман. – А вообще-то, о чём ты?

Кудлин молчал.

Игорь всё горбился, поводил плечами, хотел сказать мичману, чтобы тот не приставал к Кудлину, не к нему же боец с фронта явился, но воспитание, оно, родимое, не позволяло, как говорится, прервать моряка. Тем более контуженого. Наконец образовалась пауза, и Игорь Каретников вклинился в неё.

– Как там наши?

Вот что главное, вот, а не то, как туда-сюда по воздуху шастают снаряды. Снаряды, артобстрелы тут стали делом таким же привычным, как снег, падающий с неба, морозы-трескотуны, голод, зимний ветер, пожары, очереди, на Неве и воз-

душные тревоги. Человек, он ведь ко всему приспособливается – и к худому, и к хорошему.

– Живы, – просто ответил Кудлин, склонил по-пацаньи голову набок, – держимся. Правда, мало нас осталось. От тех ребят, что с вами, товарищ лейтенант, на высоту ходили, только пятеро. Остальные – раненые да полегшие.

– М-м-м, – Игорь мотнул головой от боли, его будто снова секануло по рёбрам, ожог стянул всё внутри. Сделалось трудно дышать. – М-м-м, – в следующий миг Каретников справился с собою, назвал одну фамилию: Смычагин... – Как Смычагин, жив ли он? – Поморщился, когда Кудлин сделал отрицательное движение рукой – проклятая смерть, скобоченное состояние человеческого бытия, в котором нет ничего успокоительного, проклятый Гитлер! Каретников снова почувствовал себя идущим в атаку на ту чёртову высотку, зажмурился от резкого света ракет и пулемётных всполохов, проговорил сипло, совсем как контуженый мичман, его голосом: – Жалко ребят!

Спросил о Киселёве. Ничего не услышав в ответ, понял по беззвучно шевельнувшимся губам Кудлина: погиб сержант Киселёв, подсоблявший Каретникову во всех делах, совет и опора, фронтовик, прошедший финскую, управлявший взводом во время отсутствия командира, немногословный, неприметный, но такой необходимый в горячие минуты...

А пулемётчик Шелудько, длиннющий хохол, никогда не закрывавший рта, – без подначек и балагурства он просто

жить не мог, как он?

Нет пулемётчика Шелудько.

А Митя Росинский, тихий, кроткий, как овечка, сын зубного техника, страдавший куриной слепотой, хороший рисовальщик – он всё Гитлера рисовал в разных видах и ракурсах, в одежде и без, каждый раз что-нибудь новое про фюрера придумывал... Однажды Митя достал где-то большой кусок марли, натянул на подрамник, углём нарисовал голозадого Гитлера, стоявшего в непотребной позе, на четвереньках, обкакавшегося, к Гитлеру пристроил хилого Геббельса, слизывающего пакость с задницы шефа. Ночью ребята вместе с Митей слазили на нейтралку и всадили подрамник с рисунком в снег. Поставили так, чтобы рисунок немцам был виден как можно лучше. Рассвет занимался долго, был он серым, бесплотным, слабое свечение утра размывало все предметы – даже то, что под носом находилось; собственные руки и ноги – и те не сразу различишь. Поэтому немцы довольно долго молчали, не реагировали на Митино изображение, потом вдруг из фрицевых окопов раздался смех – наконец-то разглядели немцы рисунок. Смех длился недолго, через полминуты стих, – видать, появились офицеры – и точно офицеры! – послышалась команда: «Фойер!» Началась стрельба. Прицельная, прямо по Гитлеру.

Ну что такое пуля для воздушной марли? Ничего. Пробила нитяные волокна, те готовно раздвинулись, пропустили сквозь себя металл, и – привет, буфет! – ушла пуля гулять в

небеса. Битый час лупили фрицы по плакату – и всё без толку. Зажигательных пуль, чтобы подпалить марлевое изображение, у них, видать, не было. А может, просто не могли сообразить.

Поняв, что мытьём не взять, решили взять катаньем – пустили на нейтралку охотников-пластунов, чтобы плакат из снега выдернуть и к себе приволочь. Наши пластунов этих тут же насадили на мушку, перещёлкали по одному.

Тогда с немецкой стороны снайперы в дело включились – стали бить пулями по углам подрамника, чтобы развалить его, в древесную труху обратить, на немецких снайперов нашлись снайперы наши, да почище, пометче, – в общем, линия фронта пришла в возбужденное состояние, а потом в игру вообще вступила артиллерия. И всё из-за одного небольшого плаката, который Митя наскоро нарисовал углём.

Плакат, конечно, фрицы в конце концов превратили в пыль, но зато сколько шума-гама было, сколько солдат им пришлось положить. Долго эта история гуляла по фронту, перебираясь из окопа в окоп, души веселила, вызывала улыбки на лицах...¹

Нет в живых Мити Росинского, погиб и он.

А Сеня Соловьёв, владелец единственного во всём полку патефона? За патефоном Сеню специально отпустили на од-

¹ История эта, как мне рассказывал ленинградский писатель Вольт Суслов, действительно имела место на одном из участков Ленинградского фронта. Марлевый рисунок, выставленный на нейтралке, был сделан художником Владимиром Александровичем Гальбой.

ни сутки домой, в Ленинград, на Мойку, где он жил. Жил он, правда, не на самой Мойке, этой вечно чумазой, в мусоре и бензиновых разводах, речушке, забранной в камень, а в одном из проулков, расположенных неподалёку от Театральной площади. А Театральная площадь, она действительно находится в ста шагах от Мойки. Вместе с патефоном Соловьёв привёз из дома три десятка пластинок. Ох, какие это были пластинки, мечта! Про любовь в парке Чаир и про синенький скромный платочек, про то, что любимый город может спать спокойно, и про... Каретников наморщил лоб: что-то больше он ничего не мог вспомнить. Где сейчас Соловьёв? Спросил у Вени Кудлина.

– Ранен, – ответил тот коротко. Добавил: – Осколком снаряда.

Хотя снарядами по высоте не били ни немцы, ни наши (может, только какой-нибудь шальной гитлеровец из танка спросонья ударил), но тем не менее факт есть факт – Сене Соловьёву отрубило по самое бедро ногу, и он на самолёте эвакуирован на Большую землю.

Каждое сообщение Вени Кудлина – удар под дых, в разьём рёбер, туда, где очень больно. И тревожно было от этого Игорю Каретникову, и муторно, и жить не хотелось...

Первым делом, когда Игорь Каретников начал вставать и передвигаться уже не только по палате, но и по коридорам, было одно – надо позвонить матери. Как она там, Любовь Алексеевна?

Но телефоны не работали, увы, слаботочные линии, как и электролинии, в городе были вырублены. В госпитале, правда, имелся полевой телефон, но что от него толку, если с матерью полевой связи не соединиться? Написать письмо? Чтобы оно ушло с госпитальным штемпелем? Нет, этого тоже нельзя делать. Жаль вот только, Веня Кудлин долго не появляется – в прошлый раз Игорь отправил с ним письмо, бодрое, обнадеживающее: ничего, мол, не случилось, всё тип-топ, воюем, дескать, мама, потихоньку, доставляем фрицам неприятности – Веня письмо с фронта отослал матери, и Игорь Каретников остался доволен этим обманом. А что, действительно хорошее обманное движение! Неплохо бы его и повторить, но Веня Кудлин что-то не появляется.

Ему казалось иногда, что мать находится рядом с ним, около постели на крохотной круглой табуретчонке, невесть для чего предназначенной, отлитой из железа, смотрит молча на сына, страдает, его боль – это ведь её боль, его радость, его рана – её рана. Что и кто может ближе человеку, роднее, преданнее, чем мать?

Взаимоотношения между детьми и родителями складываются во всех семьях совершенно одинаково – в этом Игорь Каретников был твёрдо убеждён. Хотя и говорят, что повторов быть не может... Всё разное, непохожее, несовместимое друг с другом – и всё равно отношения образуются по одной схеме или, иначе говоря, одной математической формуле: до десяти лет дети боготворят своих родителей, с деся-

ти до семнадцати сомневаются в них – а те ли родители им достались? – потом сомнения эти проходят и дети снова начинают любить своих родителей. И не просто любить, а относиться к ним с обожанием. Если, конечно, родители – это настоящие родители, а дети – настоящие дети и испытывают к своим родителям примерно то же, что ощущает Каретников к Любви Алексеевне.

Отец его был обычным отцом, и жизнь его была недоступна Игорю: слишком взрослая, слишком жёсткая, много в ней непонятного, лишённого романтических черт, мужества и героического борцовского очарования, которое, по мнению его и однокашников, было присуще тем, кто с боями, пропахший дымом, порохом, прожжённый пулями и кострами пришёл из Гражданской войны в мирный быт. Отец был щуплым, невзрачным, неприметным, обладал тихим голосом и железной волей. Ушёл он из жизни Игоря и Любви Алексеевны неприметно: на мотоботе три месяца обследовал побережье Северного Ледовитого океана, делал зарисовки, снабжал их записями, три месяца от него приходили письма, радиogramмы, а потом перестали приходить. Как обрезало... Только глухота да пустота. И что с отцом произошло, где он – никто не знает. До самой войны так никто и не смог ответить. Сколько ни спрашивали.

Говорят, его работа имела военное значение. А раз военное, значит, секрет, тайна, которую не одолеть обычным штатским лицам. Может быть, только в будущем? «Но что

будущее? Только в том случае, если будем живы, – усмехался Каретников, – по толстовской формуле “ЕБЖ”. Если будем живы...»

Отец находился над ним, где-то наверху, а вот мать была ему ровней, полноправным товарищем – ей он мог доверить любую тайну. Может, поэтому он, поначалу походивший на отца – ну просто вылитый отец, один к одному, – годам к пятнадцати как-то неуловимо перестроился, изменился и стал походить на мать. А ведь точно изменился! От великой любви всё это, от нежности и переполненности чувств, не иначе. Иногда там, на фронте, когда они находились в окопах, ему казалось, что он бессмертен, у него не одна душа, а две, не одно сердце, а два, работающих слитно, в унисон, – расстреляй, уничтожь гитлеровцы одну его душу, он будет жить с другой, уничтожат одно его сердце – он всё равно останется жить, будет бить фрицев с другим сердцем... Есть, так сказать, у него замена, надёжная замена – душа и сердце матери.

А ведь действительно мать была вместе с ним в окопах, глотала мёрзлый снег, грела чай в консервной банке, стреляла, лоя на мушку нагана серые подвижные фигурки, охала от боли, когда убивало кого-нибудь рядом, думала о безоблачных синих днях, оставшихся позади, так далеко позади, что, похоже, они никогда уже не вернуться.

Был у него в жизни период, когда он к матери относился снисходительно, даже покровительственно, чуть даже свы-

сока, – и этому тоже можно найти объяснение: всё-таки он был единственный мужчина в доме – и мать, надо отдать ей должное, приняла эту игру. Она, как всякий умный человек, всё прекрасно понимала. А там, где ум отказывался воспринимать происходящее, признавать, давать оценку, анализировать – принимала сердцем. Принимала безоговорочно.

И Каретников, осознав это со временем – наконец-то! – раз и навсегда уразумев, кто есть кто, был благодарен своей матери. Как она всё-таки умела ощущать его – именно ощущать, более точного слова не подобрать, быть одновременно и матерью и товарищем, самоотверженно, не считаясь со временем и здоровьем, оберегать от ветра и дождей, от житейских бурь росток его души.

Мы очень часто без особого внимания, а то и просто равнодушно относимся к человеку, когда он находится рядом, и вдруг чувствуем прилив нежности, чего-то острого, щемящего, если этот человек уезжает, отходит в сторону, – словом, когда его нет рядом. Происходит некое укрупнение, каждая деталь, каждая чёрточка начинают видеться рельефно, чётко, каждая морщина, каждая горестная складка, каждый лучик света, пойманный зрачком и отбитый назад, буквально ошеломляют, заставляют задумываться, грустить.

Сколько раз в мыслях своих Каретников возвращался к матери, приткнувшись где-нибудь к мёрзлому боку окопа или хода сообщения, жуя сухарь, размоченный в кипятке, сколько невольных слёз жалости и нежности подавил в се-

бе, думая о ней, – солдату не положено ведь распускаться, сколько сил потратил, желая вызвать, сделать материальным её образ, поклониться, спросить, как она там, в холодном блокированном городе, жива ли?

Эх, работали бы телефоны в Питере! Эх бы да кабы... Не дано. Молчит питерская городская связь, замороженная, порванная снарядами и бомбами, съеденная сыростью, студию, военной ржавью. Оставалось одно – делать зарубки, ждать, когда наступит день выписки.

Как-то Каретников, ковыляя и морщась от боли, прикарабался к зеркалу, находившемуся в коридоре, глянул в желтовато-мутное от времени и пыли стекло и невольно зажмурился от жалости к самому себе, от какого-то болезненного тычка в живот: на него смотрел стареющий, сильно побитый годами и жизнью человек в каком-то странном старушечьем капоте, натянутом поверх рубашки и кальсон, с тусклым равнодушным взглядом, тощей птичьей шеей, вольно обтянутой морщинистой синеватой кожей, с пятном (то ли грязь, то ли кровь, разве разберешь в мутном зеркале?), засохшим между костлявыми крупными ключицами.

«Человек обязан постоянно сопротивляться, чтобы не упасть, – ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно – может быть, даже безрезультатно, но обязательно сопротивляться. Иначе – гибель, – глядя на себя и морщась от жалости, думал Каретников. – Как только он надламывается, теряет контроль над своей внешностью, опускается, сходит на

нет – так всё, он теряет контроль и над собственной жизнью. Трудно, очень трудно бывает восстать из пепла, вернуться назад. Один раз ушедший не возвращается».

Открыл рот, растянул губы пальцами, внимательно осмотрел зубы. Зубы были чистыми, здоровыми, крупными. Кто-то, кажется индусы, считают, что здоровые зубы – признак долголетия. Они правы. Очень часто, садясь за стол с ножом и вилкой, мы укорачиваем себе жизнь. Едим, не прожевывая, кое-как, отрезаем куски побольше, давимся. А еда – это обряд, песня, если хотите. Вкусная еда – настоящий праздник.

Вон куда занесло его!

Самая вкусная еда в блокадном Ленинграде – это кусок хлеба да распаренная до ломин, готовая рассыпаться в ладони горячая картошка. И хорошо, очень хорошо бывает, когда этой картошки вдосталь бывает, на одну штуку больше, чем положено, и ею можно хотя бы немного притушить соющую голодную боль, изматывающую человека донельзя, – не остаётся сил даже на крик, на дыхание, человек лишь тихо молится про себя, взывая к снисхождению, к смерти. Смерть – избавление в таких случаях, самое настоящее избавление от голода, мук и боли. И это не пустая фраза.

Старался Каретников не глядеть в зеркало, отвернуться от него, отковылять куда-нибудь в сторону, в тёмный угол, а не мог, зеркало тянуло к себе, манило, было сокрыто в этой тяге что-то колдовское – хочешь оторваться, а не можешь.

Зубы чистые, крепкие, крупные, такими только мясо

рвать, давить, перетирать, мять, плющить волокна... Что ещё можно делать зубами? Каретников сделал усилие над собой, усмехнулся.

До войны у него был один приятель, художник – немножечко не в себе, левый – под футуристов работал, под кубистов, под «бубновых валетов», он то Фалька из себя изображал, то Кандинского, то Малевича, то Бурлюка, то Шагала; увлѣкшись графикой, начал подражать Маяковскому, хотя это и считалось немодным, – в общем, это был обычный молодой творец, который ещё не отыскал себя, а находился, так сказать, в пути. Как-то летом, в июне сорокового года, этот художник собрался на этюды в деревню. Запасся красками, кистями, набил холстами папку, заложил загрунтованные картонки в этюдник, экипировался соответственно и отправился в дорогу.

Был он человеком хотя и молодым, но полнеющим, поэтому пытался держать себя в форме, по утрам бегал по асфальтовым дорожкам в сатиновых шароварах, делал зарядку. Причѐм иногда делал силовую зарядку с хирургическим бинтом – длинной резиновой лентой, будто бы сдѣрнутой с рогульки некой гигантской рогатки: складывал эту резину вчетверо и, взявшись за концы руками, с силой разводил в стороны, потом подсовывал её под ноги и делал резкие движения вверх, будто в стремительном броске вздергивал к потолку гирию, – в общем, когда он работал с бинтом, было довольно занятно смотреть на него. В деревне художник ввѣл в

зарядку новое упражнение – просовывал резину в тяжёлую литую ручку амбарной двери, отступал назад метра на три, натягивал резину и начинал метелить руками, с силой отводя бинт назад, – тренировал бицепсы или – что там ещё из мышц рук есть? – трицепсы.

На шестой день во время зарядки ручка вдруг оторвалась от двери и, подстёгнутая резиной, с маху ударила молодого физкультурника по лицу. Четырёх зубов – двух верхних, двух нижних – как не бывало. Губы – в ключья. Интеллигентная внешность молодого художника была напрочь испорчена. Да вдобавок ко всему шепелявость появилась «Пош-лушайте, шеньор, не обешшудьте, шкажите, который чаш?..» Девчонки прыскали в кулаки и отворачивались от бедного парня. Чтобы хоть как-то поправить дело, физкультурник-неудачник вставил себе металлические зубы. Получился этакий битый-перебитый бедолага боксёр с хулиганской внешностью. В магазинах тётки от него шарахались – боялись, что залезет в карман, заказы на этюды и на оформление книг в издательствах стало получать всё труднее и труднее – печальный парадокс, а во всём были виноваты зубы.

Каретников провёл пальцем по срезу зубов, считая их один за другим, поёжился от мысли, что зубы тоже, как и рёбра, могло пересчитать осколком, либо пуля влипла б в рот, либо какой-нибудь ненормальный фриц двинул бы прикладом по челюстям – и тогда всё... Вздохнув, поплёлся в палату, стыдясь самого себя, своей незнакомой постаревшей

внешности, вялой кожи, морщин, пустых, будто вымороженных, глаз – неужели в них даже лучика света, жизни не осталось?

Человек развивается неравномерно, так было всегда. Поднимается до какой-то определённой ступеньки, задерживает на ней свой рост, накапливает силы для очередного рывка, потом следует рывок, новая ступенька – и-и-и... новый застой, связанный с накоплением сил. Так и с выздоровлением. Начав один раз ходить и почувствовав себя более-менее сносно – хотя и были ухудшения, – Каретников уже не скачивался вниз, в болезненное, полное пламени, чьих-то криков и ночного мрака забытьё, провалы остались позади, он двинулся вверх, на поправку.

Вскоре выкарабкался и во двор – выпустили немногодохнуть свежего воздуха. День был сизым, угрюмым – настоящим северный день. Снаряды не рвались: то ли затор с доставкой у гитлеровцев случился, то ли выходной они себе устроили – в общем, было тихо. Тихо – и то радость. Люди оживились.

Мимо госпитальных ворот брели худые, с медленными и неточными, будто во сне, движениями люди. С запавшими глазами, прозрачнокожие, с синевой в подскульях и висках, тяжело одетые, люди шли к Неве, чтобы взять немного воды, люди двигались от Невы, несли чайники, тащили за собой санки, на которых стояли кастрюльки, крышки кастрюлек и чайников были привязаны пеньковыми либо стары-

ми шёлковыми бечёвками к ручкам и скобам-ушкам; потеряешь крышку – худо, половину воды домой не привезёшь. А на Неве у проруби, пробитой под носом вмерзшего в лёд миноносца, длинная, продуваемая насквозь всеми ветрами очередь. Люди стояли, плотно прижавшись друг к другу и друг друга поддерживая, терпели холод и ветер и ждали, когда можно будет стать на колени перед серым, обметанным скользким ледком прораном, в котором плескалась дымная желанная вода. Каретников приобрёл несколько десятков метров от госпиталя к Неве и плохо, слабо себя почувствовал. Его качнуло в одну сторону, в другую, он хотел было закричать, позвать людей на помощь, но в нём возникло что-то мучительно-несогласное, он ощущал, именно ощущал душою, сердцем, всем немощным телом своим, а не понимал (мозг вообще здесь был ни при чём), что у этих людей сил ещё меньше, чем у него...

Прислонился к холодной боковине дома, стоящего в самом конце улицы, у Невы, сглотнул клейкую твёрдую слюну.

День очень скоро потерял свои серые краски, набряк порохов, сделался тёмным, грозовым. Совсем низко над головой, на медленной скорости, практически видимый глазом, прогугнил тяжёлый снаряд, одолел Неву и шлёпнулся на той стороне, рядом с судостроительным заводом.

Всё, кончилась тишина, у фрицев рабочее время подоспело, снаряды подвезли, сейчас начнут палить. Одолевая слабость, Каретников подумал, что очередь, выстроившаяся у

лупки, при стрельбе должна рассосаться, втянуться в подвалы, щели и норы, но очередь, ко всему привыкшая, и не думала расходиться. Наоборот, к ней ещё пристроились люди с чайниками и кастрюлями – две высохшие, схожие с мушкетёрами старухи и синеликий пацанёнок в драповой ушанке, испачканной на макушке чернилами. Старухи нахохлились, будто вороны, втянули головы в плечи, и, когда над домами прогундосил, творя неровный свой полёт, новый снаряд, одна из них проговорила глухо:

– Хоть бы в Неву, паразит, положил.

Каретников не понял: что же тут хорошего, если немцы снаряд в Неву положат – всю очередь тогда перебьёт, пошевелил губами несогласно – не права старуха-то, но старуха, наоборот, оказалась права, она очень доходчиво и логично объяснила своё желание:

– Лунка была б побольше, воды скорее набрали бы. Вот и рассуждай после этого о месте человека на войне, о том, что можно, а чего нельзя. Тем, кто живёт в тылу, мужество необходимо не меньшее, а, пожалуй, даже большее, чем тем, кто воюет на фронте. Безыскусная мысль старухи о снаряде – это вся её жизнь, помноженная на нынешний затенённый пороховой день, который, может быть, прожить не менее сложно и трудно, чем всю предыдущую жизнь: метки от него останутся и в сердце, и в мозгу, и новой сединой лягут на голову. Истина до слёз, до надрывного плача проста, понятие любому существу, способному хоть немного мыслить и страдать.

Каретников закрыл глаза и будто бы сам в ледяной проран ухнул – сделалось знобко и плохо, повело куда-то в сторону, ещё немного, и он свалится в снег. Сопrotивляясь, Каретников притиснулся посильнее спиной к стенке, нащупал лопатками небольшой упор и застыл.

Очнулся он оттого, что его кто-то теребил за рукав. С трудом разлепил веки. Перед ним, качая головой и сузив глаз до того, что они превратились в щёлочки-уколы, сделались острыми, непрощающими, стоял Парфёнов.

– Ты чего это, парень? Околеть захотел? Ну даёшь! Ну и-и... Вот полундра полоумная! Мороз-то вон какой, – дядя Шура Парфёнов повёл головой в сторону, развязанные уши на его шапке вяло мотнулись, – оглянуться не успеешь, как в стекло обратишься. Пошли в госпиталь!

Сам не зная почему – то ли произвольно это получилось, то ли специально, – он, кажется, перестал себя контролировать, Каретников отрицательно помотал головой, и тогда Парфёнов, налившись краской, выкрикнул на всю улицу:

– Дур-рак!

Правильно сделал, что выкрикнул, Каретникова дураком обозвал. Этот выкрик привёл Каретникова в себя. Он разлепил губы:

– Я маму сейчас во сне видел.

У Парфёнова сморщился рот, от крыльев носа к уголкам губ протянулись ломкие горестные складки – он неожиданно понял, что Каретников – несмотря на то что командир,

лейтенантские кубики у него в петлицах, пороху успел понюхать и ранен был – ещё самый настоящий мальчишка, не успевший отвыкнуть от школы, домашних забав и маминой титьки. Дядя Шура Парфёнов подсунулся Каретникову под мышку, обхватил за талию:

– Пошли.

Со стороны можно было подумать, что трезвый пьяного домой транспортирует, а Игорь Каретников висел на Парфёнове и плакал, чувствуя, как слёзы замерзают крохотными льдистыми бусинами на щеках: он знал, что мать тоже, немощная и постаревшая, стоит в подобных очередях за водой, молит, чтобы чужой снаряд подсобил, пробив лёд на реке, собирает топливо по щепке, разламывает топором стулья, табуретки, книжные полки, чтобы дать хоть немного пищи «буржуйке» и согреться. Каретникову было горько, больно и одиноко. А матери?

Отошёл Каретников, одну боль перекрыв болью другой, и после этой истории подружился с бывшим балтийским матросом Парфёновым. Дядя Шура Парфёнов хоть и был стар, и лыс не по-матросски и бурчал по любому поводу, а душу мягкую имел, весёлую, как чуял Каретников, – даже на гармошке в свободное время играл, о чём в госпитале, кстати, никто не ведал. Вспоминая прошлое, дядя Шура Парфёнов тяжелел лицом, становился загадочным.

– Ты, парень, когда тебе худо бывает, старайся о хорошем, светлом думать. Легче тогда становится. А то чёрного цве-

та слишком много развелось что-то, куда ни глянь – всюду чёрное да чёрное. Даже дни, и те чёрными стали. Тут у нас это, – голос дяди Шуры Парфёнова был глухим, совершенно лишённым каких-либо красок, – чтобы ночью, когда на улицу выходишь, друг на дружку не натыкались, это вот выдали, – трогал фосфорную круглую бляшку, прицепленную к старому бушлату, – к груди велели приклепать... Светится. Ночью. А я не люблю, – он собирал на лбу протестующие морщины, – свет от этой бляшки мёртвый, чужой.

Собственно, это не бляшка была, а фосфорная подкладка под значок, какие до войны всякий уважающий себя молодец носил. Значков было много, самых разных: и «Ворошиловский стрелок» – схожий с орденом приметный алый знак, и ГТО – «Готов к труду и обороне», и ГСО – «Готов к санитарной обороне», масса других. Иногда человек идёт, увешанный ими целиком, будто генерал со старой гравюры, сабли только не хватает, кренится вперёд от тяжести, и под каждый блестящий рубиновый знак бледновато-зелёная пластинка подложена – мода такая. А моде, говорят, как и любви, все возрасты покорны. Каретников поёжился, подумав, что никто не ведал, не гадал, какую службу в недалёком будущем придётся служить плоским светящимся бляшкам.

– Как гнилушка мерцает, – продолжил Парфёнов, снова потрогал фосфорный кружок, – если тебе понадобится я могу добыть. А?

– Не нужно пока.

– Чёрного в нашей блокадной жизни много. Вчера иду в морское училище меня послали, – смотрю, человек на обочине к ездовой тумбе притулился, сидит, отдыхает. Я свернул к нему. Вставай, говорю. А он голову поднял, в глазах уже тлен и пустота, и шепчет еле-еле: «Погоди... Посижу малость дыхалка что-то не работает». Делать с ним нечего, говорю я ему: «Ладно, посиди, родимец». Обратно топаю, а он мёртвый. – Парфёнов сдёрнул с круглой блестящей головы шапку, вытер ею лицо. – Мёртвый, м-да. – Вздохнул, замер; на мгновение, словно бы решая, продолжать разговор или нет, просипел незнакомо: – Набок перевернут. А от задницы, от филейной части, два куска мяса оттяпаны, вот.

– Эт-то что же? – замерев, спросил Каретников, почувствовал, как внутри рождается тёплый тошнотный комок, ещё немного – и поползёт вверх, закупорит горло.

– Ничего. Обыкновенное людоедство, – пояснил Парфёнов. – На Андреевском рынке даже котлеты продают, – пожевал губами, собрал страдальческие морщины на лбу.

– Эт-то что же? – голос Игоря сбился на шёпот. – З-за это же к стенке надо ставить.

– И ставят, – жёстко сказал Парфёнов. – И будут ставить! Наступил день выписки. Сколько ни жди этого дня, сколько ни готовься, ни переживай, лоя грудью собственное сердце, готовое выскочить наружу, – молотит безудержно гулко, будто машина, для которой нет никакого окорота, работает так, что в ушах даже глухота появляется, – а всё равно

этот день приходит неожиданно. Он будто цветок, проклюнувшийся сквозь ноздреватый жёсткий снег и давший импульс каким-то новым радостным ощущениям, дотоле неизвестным, и одновременно словно удар под ложечку – ждёшь этого удара, ждёшь, а боль бывает всё равно резкой, отрезвляющей.

Нечто печальное возникло в Каретникове – привык он к госпиталю. Человек – такое оборотистое, со всём и вся уживающееся существо, что одинаково привыкает и к смерти, и к горю, и к радости, и к боли, и к пулям, и к мёрзлой каменной земле, в которую его загоняют насильно, и ко дворцу, и к шалашу, а всё-таки печаль обязательно возникает в нём, когда он оставляет обжитое место, к которому успел привыкнуть, найти вещи не только противные, но и близкие, приятные. И врачи стали близкими Каретникову, и эти серовато-зелёные, тусклые, кое-где в пузырях и неровных пятнах облупившейся краски стены, и котельная с чёрной и высокой, словно корабельная мачта тонкой трубой, и бессменный командир её – дядя Шура Парфёнов, лысоголовый кропотун, списанный на сушу «мареман» в обелесевшей от времени кожаной шапке с небрежно болтающимися в такт движениям ушами, и запах карболки, и стиранные-перестиранные бинты.

Вздыхнул Каретников затяжно, сыро, но глаза и голос его были сухими, непо потревоженными – грусть грустью, прощание прощанием, а есть ведь и дела; закроется за ним дверь, освобожденная от навезённых за ночь мёртвых, и госпиталь

останется в прошлом. Впрочем, надо отдать дань справедливости, мёртвых стало меньше – не потому, что полегчало, поскольку по Ладогe начали привозить больше продуктов, – нет, хлебная пайка всё равно продолжала оставаться урезанной, на такую не дано выжить – а появились в Питере бытотряды, они брали на заметку тех, кто болен, слаб, обходили квартиры, доставляли воду, подсобляли с топливом, мертвецов на машинах под скорбный вой ветра и снега увозили на далёкий Пискаревский пустырь – там, сказывают, отвели место для нового кладбища, под братские могилы.

День зимний короток, всего два вороньих скачка – и нет его, наступает долгая ночь, потом ночная темень сменяется дряблой, какой-то ватной, удушливой серостью, забабахают в ней снаряды, а если погода позволит, то и бомбы – фрицы в плохую погоду летать опасаются, – потом снова надвинется темень. Был день – и нет его. Да и был ли он вообще?

К петлицам шинели Каретников прикрутил жестяные защитные кубики, которые привёз ему в подарок Кудлин, гимнастёрку украсил кубиками парадными, с рубиновым покрытием, в латунной окантовке – гимнастёрка, она ведь одежда на все случаи и все сезоны – для парадов и для будней, для лета и для зимы. Попытался потуже затянуться ремнём – дырок не хватило, ремень ёрзал на шинели. Надо было новые дырки проделать. А может, и не надо, может, ничего, что ремень на пузе вольно сидит, не так заметно, что Каретников худ – постоял немного у мутного старого зеркала. Если

в прошлый раз он был противен сам себе, то сейчас ничего – жизнь во взоре появилась, щёки и лоб не такие синюшные, скулы хоть и острые, и костлявы непомерно, а есть в них что-то мужественное, упрямое, что нравится женщинам, понравится матери. И самому Каретникову нравится.

За окном темень набухла опасной разбойничьей густотою, неподалёку слышались винтовочные и пистолетные выстрелы – похоже, кого-то ловил патруль; ни звёзд, ни луны не было видно, вверху мело.

Вскоре стало мести и внизу, но это обычно бывает недолго, ветры здешние – пьяные, куражливые, правил у них никаких, дел своих они никогда не доводят до конца: пометёт, пометёт ветер и перестанет.

На кухне, где и склад пищевой был, и готовка шла, всегда вкусно пахло, Каретникову выдали буханку тёплого, проста одурающе тёплого хлеба – даже не верилось, что хлеб таким может быть и столь сильно, до слёзного щемления в висках, до боли греть тело, руки, душу; к буханке – два синеватых спекшихся до каменной твердоты куска сахара. Сахар, говорят, с Бадаевских складов. Перед самой бомбёжкой, когда эти склады разнесли напрочь, получили, с тех пор запас этот и хранился в госпитале, расходуется лишь по разрешении главного врача:

– Куды, командир, с этим добром на ночь глядя направляешься? – спросил появившийся на кухне Парфёнов, поддел пальцем кожаную шапку, сдвигая её на затылок.

– Дед, здесь без халата появляться запрещено, – крикнула ему повариха, рыжая как огонь, худая, с крупными брызгами конопушин на щеках и носу.

– Молчи, полундра! – шаркнул валенком Парфёнов. – Лишу ты тепла, будешь знать, каково раку в студёной проруби! – Снова обратился к Каретникову: – Так куда же!

– Как куда? – Каретников не сразу даже и понял суть Парфёновского вопроса. – К матери.

– На ночь глядя? Переночуй в госпитале – утром пойдёшь.

– Э-э, нет, – Каретников похлопал по карману ватных, сшитых из неформенной «чёртовой кожи» брюк – какие выдали на складе, такие и надел, и неважно, что они были неформенные, зато тёплые. – Отпускные документы уже в кармане, время свой отсчёт начало.

– Много отпуска дали?

– Сутки.

– Мало, – Парфёнов помял пальцами подбородок. – На улице темень – глаз выколи.

– Ну-у, час ещё не самый поздний.

– Не в часе дело. С хлебом тебе, лейтенант, опасно идти. Голодный человек, он ведь как собака. Даже, пожалуй, почище, позлобнее собаки будет. Почует запах хлеба – и всё, никакая сила его уже не остановит. И «воронов» полно. – Уловил вопрос в глазах Каретникова, пояснил: – Тех, кто хлеб отымают. Специально за хлебом охотятся. Догонят с хлебом тебя, лейтенант, убьют и хлеб изымут.

– Я фронтовик, дядя Шура, не такое видел. Пуганый.

– Э-эх, молодежь, молодёжь, – вздохнул Парфёнов громко, достал из кармана какую-то тряпку – похоже, обрывок портянки, высморкался. – И куды вы все торопитесь?

В глазах у него блеснуло что-то мокрое, будто ледышка какая растаяла, Парфёнов засёк собственную слабость, насупился, сведя брови вместе, прокропотал что-то про себя невнятное. Одно лишь слово разобрал Каретников в этом кропотании: «Полундра!» Парфёнов насупился ещё больше, опустил голову, лицо его ушло в тень.

Потрогав буханку, засунутую под борт шинели, – греет тело, родимая, теплит, Каретников попрощался с непривычно шумной рыжеволосой поварихой, потом протянул руку Парфёнову:

– До свидания!

– погоди прощаться, – пробормотал тот угрюмо, не поднимая головы, – я малость провожу тебя.

Вышли во двор, заваленный снегом, с кротиными ходами, прорытыми в завалах, с расчищенной и утоптанной благодаря Парфёновским стараниям площадкой, куда приходили машины с ранеными, привозили скудную еду, с горкой угля, заметно уменьшавшейся, накрытой сверху тряпками. От угольной горы тёмный утоптаный стежок вёл во владения Парфёнова – в «преисподнюю». Каретников хотел было сразу свернуть к воротам, но Парфёнов задержал его.

– Погодь, командир. Поначалу завернём ко мне.

Помедлив немного, Каретников согласно кивнул. Парфёнов, сутулый, низкорослый, криволапый, покатился первым по стезю к подвальной двери. Каретников следом. Парфёнов побренчал замком, раскрывая вход в свой подземный храм, предупредил Каретникова: «О притолоку голову не расшиби», первый нырнул в чёрный тёплый провал. Каретников за ним и, ничего не видя в чернильной вязкой темноте, поёжился от приятного ощущения: в подвале было тепло, как нигде, ни в одной госпитальной палате такого тепла нет. Оно и понятно – в подвале всё-таки стоит отопительный котёл, за которым Парфёнов следит как за самим собою (впрочем, не то сравнение, собственная жизнь – ерунда по сравнению с жизнью котла, умрёт Парфёнов – «свято место» пустым не будет, а вот если умрёт, лопнет котёл – большой беды не миновать, счёт смертям пойдёт на сотни – помёрзнут раненые). Когда начинаются обстрелы или немец над головою висит, бомбы швыряет, Парфёнов в бомбоубежище не уходит, у котла сидит, присматривает за ним, растворчиком трещины в кладке заделывает, если бомба грохает рядом, прикладывает чуткое ухо к тёплому боку, слушает, как котёл чувствует себя, не хрипит ли, не хлюпает ли что в нём... И доведись прямое попадание – дядя Шура Парфёнов погибнет вместе с котлом, как с неким огромным живым существом, способным переживать, мыслить, делать добро.

В следующий миг Каретников почувствовал, что на лице его, сама по себе, расплывается невольная улыбка: в ко-

тельной громко, совсем по-домашнему, как в какой-нибудь довоенной сельской хате, потренькивал сверчок – молодой, непуганый, не знающий горестей и беды. Каретников подумал, что бесхитростное, такое знакомое каждому человеку треньканье – не что иное, как голос самой жизни, чего-то надёжного, непреходящего, прочного. Это, если хотите, голос прошлого. Он стоял, улыбался, а внутри у него, совершенно в противовес состоянию, в котором он сейчас находился, рождались слёзы, печальные, жгучие, вышибающие дрожь на коже.

Нашарив на приступке спички, Парфёнов побрякал ими. Ещё не видя их, Каретников по звуку определил – довоенные, из заначки, крупные, в коробке. Блокадные спички делают из фанерки – примитивное производство. Сильно отличаются от довоенных спичек, настоящих. Блокадные – это ведь что? – бесхитростное изобретение питерских умельцев: ребро маленькой фанерной пластинки расщепляется на манер расчёски, концы «расчёски» опускаются в жидкую серу – сера застывает, – вот и спички готовы. Стреляют они, словно пушки «сорокапятки», обязательно норовят попасть серой в глаз, зло, по-котинному, шипят, плюются варом и быстро тухнут, а довоенные, настоящие – совсем другой коленкор, горят ровно, тихо, пламя у них высокое, светлое, деревянный шпенек истаивает до самых пальцев.

Чиркнул спичкой Парфёнов, запалил коптилку – толстобокий зелёный пузырёк из-под лекарства, в который было

налито отработанное машинное масло, «отработку» Парфёнов добывал у шоферов проходящих с фронта санитарных машин; в самодельный жестяной кругляш, вырезанный из консервной банки, было продето медное дульце, в дульце вставлен нитяной фитиль, фитиль впитывает в себя «отработку» и чадит, потрескивает, воняет, но горит. И ничего горит!

– Садись, – Парфёнов на ходу хлопнул по табуретке, представленной к верстаку.

Верстак у Парфёнова и обеденным столом был, и спальным ложем, и собственно верстаком, Парфёнов его убирал, холил, здесь пил чай и читал газеты. Из угла, из тёплой дрожащей темени, в которой не переставая ярился, веселил душу сверчок, Парфёнов притащил ещё одну табуретку, поставил рядом. Сел. Посмотрел куда-то в сторону, спросил:

– Шинель-то чего не снимаешь?

«Команды такой не было», хотел было сказать Каретников, но вместо этого вопросительно приподнял плечи – и так ведь понятно дяде Шуре Парфёнову, почему не снял, времени нет, уходить надо. Хлеб до матери необходимо тёплым донести.

– Снимай, снимай шинель, тут тепло, – Парфёнов вытащил из кармана кiset, сдёрнул с него ботиночный шнурок, служивший завязкой, распахнул горло: – Кури! – Добавил многозначительно: – Табак не простой, а самый лучший среди всех блокадных табаков. «Берклен» называется.

Каретников уже знал, что это за табачок со звучным заморским названием «берклен». Берёзово-кленовый, вот как будет, если расшифровать, и знал, как его делают, а точнее, добывают: под деревьями разгребают снег до земли, сдирают промёрзлые листья, сушат их, пластают ножом, будто настоящий табак, смешивают и пускают в дело. Не исключением был и Парфёнов – тоже рылся под деревьями, там, где снегу поменьше, добывал листья, сушил их любовно, травки к листьям какой-нибудь пахучей добавлял – а у него, судя по характеру, травка обязательно должна быть, даже в худую пору – и получался первосортный «берклен».

Кроме «берклена» и другие табаки были в ходу у блокадников. Кто пережил те времена, наверняка помнит БЭТЭЩа – БТЩ, что в расшифровке означает: «Брёвна-тряпки-щепки», это был действительно древесно-тряпочный табак, от которого горло драло так, будто человек не БТЩ курил, а мелко крошенную наждачную бумагу либо толчёную металлическую окалину. Популярным был и «матрас моей бабушки» – табак, который делали из сена, добытого в распротрошенных старых матрасах – едкий, крепкий, две сигарки сосмалишь – и врачу надо показываться, чтоб проверил, целы лёгкие или нет. А наиболее отчаянные, заядлые курильщики докатывались даже до «вырви глаз». Под название «вырви глаз» подходило что угодно, любое курево, вплоть до пороха, – лишь бы горело и дымилось.

Каретников взял кисет из Парфёновских рук, наклонив-

шись, ткнулся носом в распах, понюхал: интересно, чем пахнет «берклен»? Запах был горьким, грибным, земляным каким-то, это был запах осени, тлена, а не табака. Каретников не курил. До войны он как-то решил попробовать, запалил папиросу, хватанул дыма, тот заполз в лёгкие и словно бы напильником обработал их – долго кашлял Каретников, надрывался, из глаз беспрерывно лились слёзы, со лба пот сыпался, а его всё било и било, трясло, ломало в кашле. Один раз попробовал – на всю жизнь себя от табака отвадил. На фронте, в окопах, тоже попробовал – ведь в стужу с самокруткой всё теплее, вроде бы живой огонёк в руках держишь, душу этот огонёк греет, глаз веселит – ан нет, нос сам по себе автоматически, сморщился: всё-таки порядочная гадость это курево!

Но «берклен» – это «берклен», с табаком его сравнивать нельзя.

– Свёртывай «козью ногу», – предложил Парфёнов. Поглядел внимательно на Каретникова. – Если ты не мастак насчёт самокруток, то я могу тебе такое архитектурное сооружение склеить, что сам... этот самый... Росси в гробу от зависти перевернется.

Парфёнов, как и все питерцы, знал, кто город построил. Да и мудрено было не знать даже простому человеку – имена архитекторов носили и улицы, и площади, и проулки ленинградские.

– Спасибо, я не курю, – отказался Каретников, поёрзал на

табуретке. – Мне пора.

– Нет, ты погодь, парень, – остановил его Парфёнов, в мгновение ока, сноровисто, ловко соорудил «козью ногу», запалил от коптилки, проворно поднялся с табуретки, подскочил к котлу. Приложил ухо к громоздкой кирпичной кладке в которую был вмурован котёл, послушал, что там внутри творится и вообще жив ли он, чудо-юдо агрегат, а если жив, то как работает?

Судя по расслабленной улыбке, которая скользнула по лицу Парфёнова, по размякшести щёк, всё было в порядке. Котёл не только был жив, не только работал, но и творил что-то сверхъестественное. Каретников даже отвернулся в сторону, удерживая в себе желание прыснуть: слишком красноречивым и размякшим было лицо Парфёнова, старого кропотуна, топтыгина в кожаной ушанке.

– Погодь, погодь, парень, – бормотал Парфёнов про себя, – погодь, погодь...

Оторвался от котла, сунул в губы «беркленовую» сигарку, выпустил из ноздрей густую струю дыма.

– Мне пора, – повторил Каретников, хотел было подняться, но Парфёнов, останавливая, положил ему руки на плечи, поморгал глазами болезненно. Каретникову показалось: тот знает что-то недоброе – знает, но скрывает или не может сказать. Но вот что? Неужели это связано с матерью? Что-то острое, тоскливое родилось в Каретникове, зашевелилось, сердце в нескольких местах будто бы иголками проткнуло.

Каретников постарался успокоить себя: а что, собственно, может знать Парфёнов? Практически ничего. – Пора, – снова произнёс он.

– Ты это... Ты ведь на фронт, командир, едешь, – Парфёнов помотал в воздухе рукою.

– Я в первую очередь к матери отправляюсь, а на фронт – во вторую.

– Вс-сё равно, в итоге будет фронт, поэтому вот тебе, парень, – Парфёнов проворно и ловко, почти не нагибаясь, выдвинул нижний ящик верстака, оказавшийся на удивление чистым, будто это ящик не верстака был, а какого-нибудь бельевого комода или гардероба, достал оттуда вафельное полотенце с лиловым треугольником печати, свидетельствовавшей о том, что полотенце было казённым, – вот тебе утирка и десять минут времени, чтоб постоять под душем. Вымойся перед фронтом. Больше ничего не могу предложить. Извини, – Парфёнов развёл руки в стороны.

Что такое тёплая вода, душ, баня в холодном и голодном, насквозь простреливаемом, просквоженном Ленинграде? Есть ли подходящие слова, чтобы в полную меру объяснить всё это, описать? И выдастся ли ещё Каретникову такое? Предложение дяди Шуры Парфёнова – королевское. Не воспользоваться им – то, может быть, и умирать придётся где-нибудь в бою невымытым, холодным, чужим самому себе.

– Давай раздевайся, а я по делам схожу – главврач чего-то просил заглянуть. Минут через пятнадцать вернусь. Душ вон

где.

Парфёнов шагнул от верстака в сторону, к крохотной; деревянной загородке, проём которой был затянут старым и, как разглядел Каретников в слабом свете коптилки, совершенно выцветшим брезентом. Откинув брезент, Парфёнов сунул руку в тёмное нутро загородки, крутанул вентиль, и откуда-то сверху посыпалась меленькая тёплая водица. То, что она была тёплой, Каретников ощутил даже на расстоянии, это тепло в тепле, но только материя тепла, ткань была совершенно иной, на движение мелких водяных пылинок с готовностью отозвалась каждая каретниковская клеточка, каждая жилка, каждый, даже самый тонюсенький, самый неприметный нервик, отонок, каждая порина на коже. Каретников хотел было помотать головой отрицательно, отказать от предложения – ведь надо было двигаться к матери, но не смог, шея плечи его сделались вялыми, чужими, непослушными, и Каретников против своей воли поднял руку и сделал согласное движение.

Парфёнов заметил, проговорил удовлетворённо:

– Вот и хорошо.

Когда Каретников, отодвинув в сторону полог, шагнул в закуток, то почувствовал, что возраст его – намного больший, чем есть на самом деле, к тому, что имеется, надо прибавить по меньшей мере ещё лет пятнадцать, а то и двадцать, каждая косточка, каждая мышца набухли усталостью, вобрали в себя груз времени, которое Каретников не успел пока

прожить, а оказывается – вона, уже прожил. Шрам на боку был гладким, свежим, не видя его, Каретников чувствовал, какой он и как пугающе тонка, непрочна розовато-сизая кожа, обтянувшая рану. А как стал под тёплую морось, так сразу мальчишкой себя почувствовал – ну будто половину своих лет сбросил, переместился назад, в школярское прошлое, даже ещё дальше – в безмятежное, полное нежных ангельских красок детство.

– Ой, мама! – невольно воскликнул Каретников, когда вода попала на шрам, ойкнул ещё раз – показалось, что больно, но боль была сладкой, это была трогательная, знакомая всем нам боль детства, что так или иначе, но обязательно периодически возникает в нас, ибо прошлому никак не дано оторваться от настоящего. Если только оно оторвётся, всё – смерть нам. Каретников прыгал на одной ноге, прижимал руку к израненному боку и всхлипывал тоненько – то ли восторженные были эти всхлипы, то ли слёзные, не понять: – Ой, мама! Ой, мама!..

С него, будто старая, отсохшая и отслужившая своё шкура, слезала окопная, госпитальная оболочка, пыль, усталость, тяжесть – он начинал чувствовать себя легко, восторженно, невесомо, – ещё немного, и сможет летать по воздуху, вот ведь. Но этого не произошло, пора было выбираться из-под душа, десять минут слились в один миг, в коротенький птичий скок – были они, и нет их.

С сожалением выбрался Каретников из-под душа – когда

ещё такое выдастся, прав был Парфёнов, что затянул его сюда. Крепко вдавливая рифленую ткань полотенца в кожу, вытерся. Едва натянул на себя гимнастёрку и, потряхивая головой, словно конь в жаркую летнюю пору, расчесался, как хлопнула дверь и с клубом сизого, плотного, будто дым, пара в подвал ввалился Парфёнов.

Окинул Каретникова торжествующим взглядом – дядя Шура Парфёнов словно бы некий секрет знал, поинтересовался сиплым тоном:

– Ну как?

Каретников подумал с невольной улыбкой: «А дядя Шура-то – актёр», тут же в нём возникло что-то виноватое и благодарное одновременно: он понимал, что стоил этот душ Парфёнову. Естественно, всякий смертный человек бывает рад похвале, Парфёнов – такой же смертный, как и все, он тоже будет рад похвале, и Каретников произнёс восторженно:

– Блаженство, ни с чем не сравнимое! Высший сорт! – для убедительности показал Парфёнову большой палец. – Слово бы жизнь заново начал.

По Парфёновскому лицу проскользила довольная улыбка – он был рад, что угодил человеку, обогрел и обласкал фронтовика, а то ведь действительно, когда ещё тому тёплой водой мыться доведётся.

В жизни, как слышал Каретников, не существует прямых линий – даже абсолютно прямые ровные линии обязательно

где-нибудь да сходятся, в какой-нибудь далекой глубинной точке за горизонтом, и человеческая жизнь, она тоже никогда не бывает ровной, она всё скачками, аритмичными рывками: то вдруг в стремительном спортивном броске вырывается вперёд, оглушая, подминая человека, и тут надо обладать настоящим мужеством и хваткой, чтобы устоять на ногах, то неожиданно с ней происходит обратное: кто-то невидимый резко ударяет ногой по тормозам – и всё приостанавливается. И сердце, привыкшее к скорости, уже пугается тишины, покоя и черепашьего хода, барахтанья в собственном соку, в панцире, норовит выскользнуть из груди, дыхание становится хриплым, неровным; конечности и чресла начинают трусливо дрожать, голова делается гулкой, пустой, будто в ней ничего – ну абсолютно ничего, ни единой мысли нет.

И жизнь человеческая неровна, аритмична, и дела с поступками, и настроение. Настроение – особенно, это постоянное движение с провалами вниз и взлётами, с радостью, которая сменяется болью, печалью, с песнями, на смену которым приходит плач. Это скачки, рывки, которые в графическом изображении будут похожи на пилу с опасно острыми, неровными зубьями.

Только что Каретников был приятно удивлён возвратом в прошлое, лёгкостью, приподнятостью – всем тем, что осталось в душе после купанья, и вдруг всё это кануло куда-то в неведомое, словно бы провалилось в преисподнюю: настроение у Каретникова дало крен, ему почему-то начало мнить-

ся, что это купание – последнее в его жизни. Будто бы перед смертью вымылся, чтобы в могилу лечь чистым, и Парфёнов хитрый, проницательный человек, за много вёрст это почувствовал.

– Вот и всё, товарищ, что могу тебе предложить, – проговорил Парфёнов виновато, поморгал глазами, будто под веко ему попала пылинка, и, когда Каретников взялся за шинель, чтобы натянуть её на плечи, сделал остерегающее движений рукой: – А всё-таки я советую тебе, командир, переночевать в госпитале, пойти домой утром. А?

Где-то неподалёку хлопнул разрыв, землю под ногами потрянуло. Дядя Шура Парфёнов бросил взгляд на котёл – всё было нормально – и, успокоенный, крутнул пальцами колесико репродуктора – тарелки, висящей над верстаком. Послышался звук метронома – мерный, медленный, спокойный.

Раз медленный и спокойный, значит, обстреливают не Васильевский остров, а другой район, если б обстреливали Васильевский – метроном бы частил, звук был бы тревожным, прерывистым, походил на стук загнанного сердца.

– Боюсь я за тебя! Не ходи, командир!

– Нет, – Каретников натянул на себя шинель, застегнулся глухо, на все крючки, подпоясался ремнём. – Меня ждёт мать.

Парфёнов вздохнул.

– Понимаю, – сказал он, стянул с головы кожанку, вы-

тер лицо – машинальный жест, лицо было сухим, ни единой блестяшки на лбу. – Понимаю.

Сунутая за пазуху буханка хлеба была ещё тёплой и, словно бы источник какой, небольшая живая печушка, грела тело.

– Спасибо вам за всё, – сказал Каретников.

– Будь осторожнее, командир. Смотри, как бы вослед кто не увязался. У «воронов» нюх острый.

– Понимаете, не могу я, – Каретников притиснул руки к шинели, – мать ждёт. Каждый час дорог.

– Не объясняй ничего, всё понятно. Пошли, провожу тебя, – Парфёнов закашлялся гулко, сильно, было слышно, как в лёгких нехорошо сипит какой-то дырявый насос, потом кое-как совладал с собою, загнал кашель внутрь и, облегчённо вздохнув, стянул с головы шапку, отёр ею лицо, рот. – Хоть самую малость провожу.

После тёплого подвала на улице показалось слишком студёно – мороз сильный, упрямый, рукастый толкал в грудь, обваривал крапивной студью лицо, норовил выесть глаза, ноздри. Снег шевелился, вздыхал будто живой, по нему бегали синие мерцающие тени. Странное дело – ещё двадцать минут назад этого не было, а сейчас словно бы проснулся некий невидимый шаман и начал колядовать, камланьем заниматься, удивлять людей.

На той стороне Невы, около судостроительного завода, что-то горело, рыжастые недобрые сполохи отражались в

низком тяжёлом небе, перемещались с места на место, будто считали облака. Каретникову показалось, что по земле, впитываясь в снег, обволакивая вмёрзшие в Неву корабли, обходя заступы и ледовые пупыри, стелется дым, но дыма не было. И не пахло им. Пахло другим – чем-то сладковатым, одеколонным – неестественный запах. Ни для войны, ни для зимы, ни для блокады.

Они вышли на улицу через ворота, и Каретников, пока ожидал Парфёнова – тот запирает ворота на замок, увидел, что у госпитальной двери, которая находилась буквально рядом с воротами, что-то чернеет.

Сделал несколько шагов, чтобы рассмотреть получше. В снеговой выбоине лежало человеческое тело. Не понять, кто это, мужчина или женщина, труп был завёрнут в какую-то лохматуру, длинный, иссохший, с вытянутыми до конца ногами, на голову была намотана тряпка. Подошёл Парфёнов, крикнул, хотел было что-то сказать, но не сказал.

Двинулись по стежку, пробитому в обледенелых, захватанных руками, испачканных мочой отвалах снега. Около булочной остановились. Сквозь замусоренное лохматым инеем оконце было видно, что внутри булочной горит огонь – на столе стоит коптилка, такая же, что и у Парфёнова в подвале, одна эта коптилка и живёт, светится слепо. Продавщица, наверное, специально на ночь огонь оставила, чтоб народ знал, что с утра здесь будут хлеб давать, хотя это запрещено было делать – а вдруг фрицы с воздуха увидят? Хотя какой

тут может быть воздух? Ночь черным-черна, плотна, ничего в ней не видно: пальцы собственной руки вытянешь – и растворяются пальцы в снеговой мгле. А может, продавщица сама решила заночевать в булочной. Тут ведь много теплее, чем дома. И уютнее.

– Погодь! – попросил Парфёнов, остановился, прислонился спиной к стене булочной, откинул голову назад. – Мутит чего-то. От голода, поди. – Тут же поправился, слово «голод», видать, было противно Парфёнову, он не признавал его: – От недоедания... Ослаб я.

Первой мыслью Каретникова было следующее – собственно, это даже не мысль, а простое движение души, – вытащить из-за пазухи буханку, отломить кусочек и дать Парфёнову. Парфёнов, несмотря на мгу и темень, заметил это, отрицательно поднял руку:

– Не надо, командир. – Сунул руку в карман, достал мешочек с «беркленом»: – Я лучше перекурю...

Стал сворачивать «козью ногу».

Рукавицы у Парфёнова, чтобы не потерять, были пришиты к бечёвке, бечёвка пропущена в рукава. Каретников улыбнулся, вспомнив, что в детстве мать ему тоже пришивала рукавички к тесёмке, а тесёмку пропускала сквозь пальто – только тогда можно было быть уверенным, что Игорёк рукавички не посеет. Хуже было с галошиками, галошики он терял ещё чаще, чем рукавички, и мать каждый раз удручённо качала головой, говорила, что на сына продукции целой га-

лошной фабрики не хватит.

Огонёк коптилки, освещавшей нутро булочной, подрагивал, мигал, манил к себе, словно некий таинственный светлячок.

– Эту коптилку вы делали? – спросил Каретников.

– Я, – не удивившись вопросу, ответил Парфёнов. – Тут в половине домов мои коптилки, – он сложил ладони ковшом, с одной спички запалил «козью ногу».

Над головой Парфёнова висела серая, замороженная с углов мраморная доска, слабо высветленная обледеневшим снеговым отвалом, доска была старой, с ятями. «Композитор Александр Николаевич Серов. Род. в С.П.Б. 11 января 1820 г. в этом доме. 20 января 1871 г. Отъ Музыкально-исторического О-ва имени графа А. Д. Шереметева».

«Кто такой композитор Серов, что написал, какую музыку? – попытался вспомнить Каретников. – Чем знаменит?» Напрягся, но, увы, Каретников не знал этого композитора, никогда не слышал о нём. Художника Серова знал, его картину «Похищение Европы» любил, почитал другую его живопись, особенно портреты; знал лётчика Серова, Героя Советского Союза, а вот композитора не знал. Ему сделалось немного стыдно, он даже почувствовал, как погорячели щёки.

– Пошли, – сказал Парфёнов, оторвался от стены, первым двинулся по снеговому лазу, придерживаясь рукою отвала.

Вот и расчищенный Большой проспект, по которому хо-

дили машины и который был сейчас угрюм, тёмн, пустынен, лишь ветер бормотал что-то своё, сгребал в кучки жёсткий сыпучий снег, забивал им выбоины.

Пожар на той стороне Невы успокоился, в небе перестало полоскаться мрачное рыжее пламя. Было тихо. Но тишина эта – не та безмятежная, чистая, вызывающая чувство покоя и расслабленности – дивное ощущение, когда можно не ожидать удара сзади, когда мир не предвещает ничего опасного, – а совершенно другая, напряжённая, чуждая всему живому, недобрая, какой, например, бывает тишина перед атакой. С такой тишиной Каретников был хорошо знаком.

По обеим сторонам проспекта росли акации, обледенелые, посеченные кое-где осколками, здорово постаревшие за эту блокадную зиму, – настолько, кажется, постаревшие, что им, возможно, уже и не выжить. И останется им тогда только одна дорога – в печной зев, в топку, чтобы хоть немного дать тепла людям, городу, земле, поддержать в них жизнь.

Тепла в городе не было. Уже сожжены все заборы, сараи, столбы, шкафы и буфеты, книжные и посудные полки, сами книги и рукописи, столы, двери в опустевших квартирах, старое тряпье и обувь – всё это сгорело в крохотных ногастых «буржуйках» – всё, что только могло гореть, а деревья не были тронуты. Ни одно. Да, ни одного из них не коснулся, как знал Каретников, топор.

У людей просто рука не поднималась погубить живое существо – такое же живое, как и они сами. Кто знает, вполне

возможно, что дерево так же, как и человек, способно мыслить, чувствовать, дышать, страдать и радоваться, ощущать боль и прислушиваться к песням.

Люди застывали в собственных квартирах, превращаясь в лёд, в камень, в нечто мёрзлое, внешне и непохожее на человека, но деревья не трогали. Даже у самых опустившихся людей, отщепенцев, воруя не поднималась на это рука. А если б поднялась, то другие отрубили бы эту руку.

Замерли деревья. Что они чувствуют? О чём думают? Обнажённые, ничем не защищенные – ни от стужи, ни от осколков, ни от пламени. Каретников поёжился, поднял воротник шинели. Пар дыхания прозрачно-светлым, заметным в ночной мгме облачком взметывался вверх, облачко позванивало тонко и исчезало, будто его никогда и не было. Под ногами наждачно-остро скрипел снег, от этого скрипа болели зубы, скулы сводило, в висках больно колотилась кровь.

Парфёнов остановился, стянул правую рукавичку, подышал в неё.

– Ну вот... – пробормотал он.

Бытует старая народная мудрость: человек, который уезжает или уходит, две трети своей души, сердца оставляет в том месте, что ему приходится покидать, и только одну треть уносит с собой. Но, как понял Каретников, Парфёнов с этой мудростью не был согласен, арифметика тут совсем от обратного: уходящий человек забирает две трети чужой души с собой. Ну кто есть для дяди Шуры Парфёнова этот парень?

Никто. Подумаешь – полтора месяца в госпитале!

Но полтора месяца в госпитале, в холоде и голоде, в бомбёжках и пожарах, при постоянных артобстрелах – это целая жизнь. Вот и дёргается расслабленно щека у Парфёнова, человека, далекого от сантиментов, – с каждым таким уходом бывшего ранбольшого умирают в Парфёнове клетки, разные нервные жилки и волокна, от организма происходит отторжение, он сохнет, и вот уже – грустная вещь, ей-ей – настоящее становится прошлым. Уйдёт сейчас Каретников – и частица жизни изымется из Парфёновского естества. Арифметика проста как божий день. Без всякого душещипательного счёта – «одна треть», «две трети»...

– Вот, – пробормотал Парфёнов снова, закашлялся. Их с головой накрыл снеговой охлест. Крупины снега были льдистыми, колючими, жёсткими, как песок. Каретников невольно втянул голову в плечи. Холодно. Холодно темно, мрачно, как в могиле.

– Вот, – вновь молвил Парфёнов. Кончил кашлять стукнул себя кулаком по груди. – Прощай.

– Спасибо за всё!

– Ладно, – отмахнулся Парфёнов, поглядел по сторонам. – Будешь идти – оглядывайся. Осторожность никому ещё не повредила. А те, кто безоглядные, – те быстро голову теряют.

Повернулся Парфёнов, похрумкал катанками назад, ещё мгновение – и он исчез в тёмной волнуемой мгле. Шевельнулось только что-то тёмное в тёмном – некое округлое

неясное пятно, – Каретникову показалось, что на прощание Парфёнов остановился и поднял руку, прощаясь, – и пропало. Каретников остался один.

Двинулся вдоль каменной промороженной ограды, которой было обнесено чьё-то богатое имение. Потрогал рукою пазуху – цела ли буханка хлеба? Буханка была цела, отдавала своё тепло его телу, грела. Не так, как раньше, но всё-таки грела, и Каретников поморгал благодарно, ощутив в себе некие трогательные, исполненные чего-то нежного, доброго позывы.

Ограда скоро кончилась, за ней следовал пустырь. Тут, видать, когда-то стоял дом, но его снесли. А может, и не снесли, может, его подняло в воздух вместе с жильцами – бомба или снаряд, поди сейчас угадай. Снега здесь было много, он светлел в ночи гигантскими округлыми горбами, некоторые горбы на морозе шевелились, кряхтели словно живые, вызывали невольную оторопь.

Ноги как-то сами по себе, словно подстёгнутые, убыстрили ход, каретниковское сердце стало стучать тревожно, заполошно, вызывая стуком своим щемящую боль в заушье. Ночь-то какая – ни зимней пронзительной сини, так любимой молоденькими романтичными школьницами предвоенной поры, ни свечения неба – впрочем, насчёт свечения не всё, наверное, правильно: ведь смог же Каретников в снеговых отблесках прочесть мраморную доску, прибитую к стенке булочной, но это было там – там, по ту сторону Боль-

шого проспекта, – а здесь, по эту сторону, небо не светилося, снеговые отвалы хоть и подсвечивали, но были угрюмыми, таили в себе опасность, бормотали что-то пьяно, невнятно.

Казалось, вот-вот выскочит из-за отвалов какой-нибудь «ворон» – матерый бандюга с кистенем, нападёт, проломит череп лейтенанту, отнимет у него единственно ценное, что есть, – тёплую буханку хлеба, а у лейтенанта и нет ничего такого, чем можно отбиваться, – ни пистолета, ни карабина, ни гранаты. Даже завалящего перочинного ножика и того нету – только собственные кулаки.

Он невольно оглянулся – улица была пустынной и чёрной, ни одного человека на ней. Ни впереди, ни сзади.

Чтобы хоть как-то отвлечься и тем скоротать путь, надо обязательно думать о чём-нибудь приятном. Знакомый рецепт. Ну, например, вспомнить девчонок, с которыми он, Игорёк Каретников, учился. С одной из них, Кунгурцевой, сероглазой, нежноскулой, серьёзной, он даже целовался. Как сейчас помнит вкус и запах её губ. Имя у Кунгурцевой было странное, по моде тридцатых годов – Интерна, сокращенное от слова Интернационал.

В сугробах, среди обледенелых горбушек, что-то громко вздохнуло, послышалась возня, и приятные пленительные мысли мгновенно испарились.

Подозревал Каретников, что люди, которые уходят в мир иной раньше времени, уносят с собой много неизрасходованной энергии, сил и эти силы должны как-то впослед-

ствии выплеснуться, вымахнуть из-под земли, превратиться в нечто живое – бестелесное, но живое – в привидение, например, в какого-нибудь козла, в чёрта, в бабу в ступе, в летучую мышь, в юркого чернявого кота с горящими, словно два свечных факелка, глазами. Иль воплотиться в какой-нибудь звук – в заунывную, вышибающую дрожь даже у смелого человека песню, в замогильный бормот, причитанья, – либо в колючий холодный хохот. Или в папиросную дымку, закрывающую луну, съедающую её скудный свет...

И только те люди, которые умерли естественной смертью – использовали свою энергию до конца. Догорели, как фонари, и, когда керосина ни капельки уже не осталось, тихо покинули землю.

Сколько здесь, под этими сугробами, может лежать людей, умерших от осколков, от огня, от порохового удушья, – попробуй, сосчитай. Не один и не два десятка, наверное. И тех, кто под снаряд попал, и тех, кто, ослабший, с помутнённым от голода взором замёрз, идя домой.

Скрип снега под ногами сделался громче, резче – будто отвердевший крахмал лежал на земле, битое стекло, что-нибудь ещё, но никак не снег. Мороз, похоже, набирал силу. Может быть, и прав был дядя Шура Парфёнов, когда предлагал скоротать время до утра в госпитале, а с первым светом уже двинуться к матери. Но правота хороша, когда она торжествует победу, госпиталь теперь остался позади, отступать уже поздно.

Он попробовал убыстрить шаг, пойти скорее, но не тут-то было: ноги сразу начали тяжелеть, сделались ватными, चुжими – на таких ногах далеко не ускачеешь, звон в ушах усилился, вот он уже превратился в колокольный бой. Каретников сбросил ход – авось как-нибудь дотелепается до дома. По спине между лопатками потёк пронзительно-острый холодный ручеёк пота, Каретников поёжился, сопротивляясь этому ручейку, снова постарался отвлечься, думать о чём-нибудь постороннем, приятном. У каждого человека есть в жизни всхлипы-рыданья, стон, а есть и счастливый смех, минуты, о которых он вспоминает с доброй мечтательной улыбкой. Ну, например, та же Интерна – девчонка, светящаяся буквально насквозь, нежная, с невесомой походкой, существо будто из сказки, с серьёзными серыми глазами, в которых любой пловец запросто утонет, хочет он того или нет, – никакие звания мастера спорта и чемпионские достижения не спасут, ни за что не выплыть спортсмену из такой губительной глубины...

Ничего у него не получилось с Интерной. Однажды она, скосив свои серьёзные серые глаза куда-то в сторону, сообщила Каретникову, что влюбилась в курсанта военно-морского училища и, возможно, скоро выйдет за него замуж. Учились они с Интерной тогда в десятом классе. Конечно же, в этом возрасте девчонки бывают много старше и опытнее своих ровесников, ласковоглазых и пухлогубых телят. Интерна Кунгурцева была много старше Игоря Каретникова,

несмотря на то, что метрики о рождении им были выданы в одном и том же году, и даже более – в одном и том же месяце.

После окончания школы Каретников больше не видел Интерну – она действительно вышла замуж за бравого золотоволосого, с бровями вразлёт и лихими пшеничными усиками лейтенанта, выпускника военно-морского училища, и уехала с ним на Север – ослепительный моряк получил назначение на подводную лодку. Уехала и словно бы в воду канула, не видно и не слышно было после этого Интерны.

Сама-то уехала, а вот запах волос, вкус губ, цвет глаз в памяти засел прочно – не вытравить это уже ничем. Не избавиться. Да и избавляться-то не надо.

Вот ещё один проулок, тёмный, заваленный снегом, с топаниной чых-то ног поверх сугробов остался позади; ну хоть бы один огонёк, какое-нибудь живое движение, шевеленье, человеческий голос или клекот птицы – нич-чего нет, всё пусто и мёртво. Да потом, откуда тут могут быть птицы? Ни птиц, ни собак, ни кошек нет больше в Ленинграде. Всё съедено людьми. Каретников вздохнул затажно. Глубоко, в лёгких у него, как у Парфёнова, что-то засипело, зашкворчало простудно, сыро.

Как там мама? Сидит, наверное, пригорюнившись у «буржуйки», чай кипятит либо клей в кастрюльке вываривает, чтобы хоть что-нибудь на завтра было.

При мысли об этом Каретникову остро сжало горло, сделалось до слёз, до стога жаль мать. Может ли нормальный

взрослый человек тянуть на горчице, клее да на пустом кипятке? Да на блокадной скудной пайке, схожей с прессованной сохлой фанерой, глинисто-чёрного цвета, весом сто двадцать пять граммов? Выплеснуть бы из головы эти мысли, как воду из кружки, да не получалось. Он представил себе мать, высохшую от голода, невесомо лёгкую, укутанную в тяжёлые душные одежды – иначе от холода не спастись, – с сизыми, остро выпяченными скулами и запавшим, лишённым блеска взглядом, в следующий миг почувствовал, что рот ему сводит судорога, лицо перекашивается, ещё чуть-чуть – и он закричит, сердце у него разорвётся. Каретников сжался и подавил в себе крик, услышал только слабый зажатый стон и вздернул голову, словно от удара, – кто это стонет, кому нужна его помощь? Он не сразу понял, что этот стон – его собственный, прошептал несколько невнятных смятых слов, попытался ускорить шаг, но это ему снова не удалось.

Стон, невнятные слова, которые он произносит сам по себе, машинально, – уж не бредит ли он? А вдруг он потеряет сейчас сознание, ткнётся головою вон в тот ноздристый чёрный сугроб, испятнанный сусликовыми дырками – мочились люди, и затихнет навсегда – может такое быть, а?

– Не-ет, – просипел он, помотал головою упрямо, изгоняя наваждение, закусил до крови нижнюю губу, почувствовал во рту что-то тёплое, солёное.

Миновал ещё один переулок, боком пробрался по скользкому обледенелому лабиринту, пробитому лопатами сквозь

большие, притиснутые друг к другу горбы снега. Вверху, над горбами, мело, стеклистый колючий снег горстями сбрасывало в лабиринт, когда крошево попадало в лицо, было больно, и Каретников невольно дёргался, пытался прикрыться, но ничего не получалось – снег безжалостно, с маху бил по щекам, норовил выстебать глаза.

Скрип сапог в лабиринте оглушал Каретникова, это не скрип был, а какой-то визг, плач боровка, которого вознамерились оскопить. Буханка за пазухой остыла и теперь уже не грела, а, наоборот, холодила тело. Хотя холодить она никак не могла. По простой человеческой, психологической, если хотите, причине, не говоря уже о физике, – это был хлеб. Хле-еб!

Хлеб, который вызывает благодарное чувство в человеке, душевное движение, делает буку приветливым, никчемность личностью, всё ставит на свои места.

– Недаром так сильна к хлебу тяга у русского мужика, – пробормотал на ходу Каретников, стараясь перебить рашпильный визг собственных сапог, – русский мужик испокон веков хлеб держит на уровне Бога, почитает как самого главного своего друга. Хлеб есть на столе – жизнь легка и человек счастлив, хлеба нет – сразу слёзы, горе, мрак беспросветный. Страшно, когда нет хлеба... А как мы с ним плеватьски обходились до войны? Играли кусками, будто в снежки, бросали на землю, в отхожие места, в мусорные ведра и нужники, собакам скармливали, – Каретников неволь-

но поморщился, – а сейчас, будто в наказание, ни хлеба, ни собак, всё подобрано подчистую. Люди в скелеты превратились, затирухой из воды пробавляются, но держаться до конца им помогает всё тот же хлеб – малюсенькая липкая пайка в сто двадцать пять граммов весом.

Каретников и сам без фронтовой каши увял, кожей обтянулся, вот ведь как; совсем недавно боялся даже на самого себя взглянуть в зеркало – опасался увидеть какое-то смутное пыльное подобие, тень того, кем он был раньше, до войны. А апатия, лень, что наваливаются на голодающего человека, – и жить не хочется, и двигаться, и даже есть, и то не хочется, всё человеку безразлично, всё тонет в бестелесном пуху, в подрагивающем противном тумане, в котором еле-еле проступают какие-то неведомые бесплотные тени, – это предупреждение, что всё может кончиться плохо. Где-то далеко-далеко в горних высях зазвучит тихая прощальная музыка, звуки её будут жалостливы, невольно вышибут слёзы, перекосят в немом крике лицо... Бойся этого, Каретников!

Мороз припекал всё сильнее. Каретников передёрнул плечами, почувствовал тугой обжим своей неказистой шинели, которая у настоящего солдата должна пахнуть дымом костёрных дров, кулешом и порохом, походной жизнью, а у Каретникова она пахла чёрт знает чем, но только не военным бытом – карболкой, мылом «Ка», с помощью которого обовшивевшие солдаты боролись с «фронтовыми подругами», какой-то сладковатой противной микстурой, помята шинель

и нескладешна и больше напоминает конскую попону, чем солдатскую одежду. Но тем не менее плечи обжимает крепко, как настоящая добротная командирская шинель, хоть в этом-то можно быть спокойным.

Ну а с другой стороны, если бы сидела свободно – было бы лучше: малый зазор воздуха, он, как ватная прокладка, тело греет.

В такой мороз не только усталые готовые опухнуть от недоедания ноги движутся еле-еле, но и время, оно тоже едва-едва ползёт, всё больше топчется на одном месте, стиснутое стужей, голодом, бедой. Ветер, кажется, тоже усилился, значит, скоро начнет сорить снегом уже серьёзно. Земля слипнется с небом, станет единым целым, кто-то неведомый захохочет, загугнит в небесах и, если нащупает внизу немощную тень, то, удивившись: живой ведь человек топает, живо-ой, да быть этого не может! – свалит на него сугроб и до самой весны захоронит. Чтобы не был тот человек чем-то вроде соринки в глазу, не дёргался, не мешал взору. Сколько таких бедолаг покоится в этих страшных горбатых сугробах! В апреле, когда снег будет таять – обнажатся страшные полюблезшие мокрые трупы.

В глотке у Каретникова даже что-то задёргалось от этой мысли, страшно ему стало. На фронте страшно не было, а тут стало. Одолевая страх, худые мысли, он упрямо нагнул голову, постарался втянуться в шинель, которая греет уже совсем перестала, прислушался к собственным шагам, к рез-

кому скрипу подошв: этот скрип зубы расшатывает, будь он неладен, лечить потом челюсти придётся.

«Думай о чём-нибудь хорошем, добром, тёплом, – приказал он себе, – думай! Иначе худо будет, замёрзнешь».

Он сейчас уже начал понимать, что не рассчитал свои силы – а раз так, то он может и не добраться до матери; Парфёнов, опытный человек, знающий что к чему, был прав, когда пытался задержать Каретникова, – надо всё же было переночевать в госпитале, а когда развиднелось бы и дома, сугробы, пустыри окропил жиденький тусклый свет, отправился бы к матери. Может, заночевать где-нибудь в брошенном доме, в покинутой пустой квартире? Мелькнула в нём мысль исчезла – в брошенных стылых домах ночевать ещё опаснее, чем на улице, оглянуться не успеешь, как уснешь, а уснув, замёрзнешь. Сто из ста, ни одного шанса на выживание нет. Остаётся одно: двигаться вперёд.

«О чём таком хорошем думать, а? – спросил он себя. – Что можно назвать хорошим, добрым, тёплым? В жизни многое построено по законам контрастов, одно оттеняет другое делает резким, отчётливым: жарким летом мы мечтаем о зиме и синих мягких сумерках, держа в руках снег, вспоминаем безмятежное летнее купанье где-нибудь в чистом, заросшем кувшинками пруду, видя орла, застывшего в тяжёлой грузной думе на обломке скалы, обращаем взор на безмятежных говорливых летунов воробьев, извечных спутников человека, таких же общительных, как и сам человек, в холод дума-

ем о тепле, и дума эта часто бывает губительной – человек забывается, теряет осторожность...»

Лето, лето... Вернётся ли оно когда-нибудь? Дивная пора, при воспоминании о которой невольно щемит сердце. Каретников на ходу закрыл глаза. На минуту, всего лишь на минуту закрыл – и сразу перед ним из нематериальной пустоты, из ничего возник звонкий зелёный луг, длинный, ровный, с высокой, ещё не тронутой литовкой косца травой. Травы, цветы, пчёлы, шмели, всякие букашки, козявки, сороконожки, гусенички, божьи коровки... Кого тут только нет, какие только твари не ползают! Кр-расота, лепота, душа отдыхает и радуется. А трав-то! Вон короставники, много их, растут густо – словно сиреневое рядом на зелень накинута, цветёт короставник жарко, того и гляди займётся пламенем, вспыхнет, словно свеча, спалит всю округу, вон луговая герань – неприметное льдисто-голубоватое растение, посмотришь издали – вроде бы небо в лужице отражается, а ближе подойдёшь – нет, не небо и не лужица это, совсем другое – живые былки из земли прорастают, дышат, жадно тянутся вверх, головы под солнышко подставляют.

А вон то ли вата, то ли пена, то ли облачные лохмотья прилипли к мелким зелёным кустикам, то ли дым сквозь землю просочился – это подмаренник, он самый, узнал Каретников и невольно улыбнулся. И вот ведь какое странное дело, холод куда-то отступил, буханка за пазухой, будто некая печушка, снова начала греть его, телу сделалось теплее.

Травостой ровный, густой, высокий, глаз веселит. Да и не травостой это, а высокотравье. «Травостой... высокотравье... травостой... высокотравье...» – будто заведённые, сами по себе зашевелились каретниковские губы. Но больше всего на лугу было кипрея. Кипрей ещё иван-чаем зовут, из этого цветка действительно хороший чай получается, густой, ароматный, с конфетами-подушечками можно выпить ведро. Стебли высокие, ровные, цветы розовые, пахучие, словно пудра фабрики «ТеЖе», дух от кипрея идёт женский, голова невольно кружится.

А ведь у Каретникова действительно кружится голова, в теле его, в грудной клетке все затихло и умерло – и сердце вот уже не бьётся, и лёгкие не работают. Все остановилось, окостенело, скоро конец придёт. Тревожно-то как...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.